


ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ

A decorative border with intricate floral and scrollwork patterns, featuring circular medallions at the corners and midpoints of the sides.

*По ту сторону
отчаяния*

Валерия Новодворская

ПО ТУ СТОРОНУ ОТЧАЯНИЯ

ISBN 5-7020-0838-3

Москва, 1993.

Издательство «Новости»

Серия «Время. События. Люди».

От производителя

Представлять Валерию Новодворскую нет необходимости, лидер Демократического Союза достаточно хорошо известна. А вот познакомиться с ее исповедью – это неожиданное и интересное чтение. Воспоминания охватывают период со школьных лет автора до сегодняшнего дня. Вместе с автором читатель пройдет путь от юного антисоветчика Советского Союза до руководителя политической партии, узнает о многочисленных акциях политического противостояния Валерии Новодворской, связанных нередко с арестами и голодовками, познакомится с ее характеристиками разных политических лидеров, их поступков, с оценкой ею ситуаций в стране, с прогнозами.

СОДЕРЖАНИЕ



Посвящение.....	5
Исповедь на незаданную тему.....	8
Я, юный антисоветчик Советского Союза.....	10
«В России никого нельзя будить».....	16
«Да сгинет день...».....	19
Мои университеты.....	22
Я вырываю томагавк войны.....	28
«Сейчас должно предписанное сбыться...».....	36
«Арестованный – это званье».....	39
Абсолютное оружие.....	50
Комната 101.....	55
«Наш поезд отходит в Освенцим».....	60
Остров доктора Моро.....	62
«Пусть мертвые хоронят своих мертвецов».....	74
Возвращение в Аид.....	78
Профсоюз – это роскошь, а не средство передвижения.....	83
«От содеянного мною – не отрекись».....	87
«А нашу Елену, Елену – не греки украли, а век!».....	92
«Одна из всех, за всех, противу всех».....	101
«Вот четверть бьют часы опять...».....	108
«Она еще очень неспетая, она зелена, как трава».....	121

«Ах, не досажали, не дожали».....	127
«Стучите, и вам откроют».....	132
«Но лучше так, чем от водки и от простуд».....	137
«Ты должен быть гордым, как знамя».....	144
Наш собственный дракон.....	146
Кто смеет обижать сироту?.....	149
«Ответ один – отказ».....	150
Где здесь пропасть для свободных людей?.....	172
Если враг не сдастся, его не уничтожают.....	182
«В прорыв идут штрафные батальоны».....	186
Я – Спартак!.....	191
«И даже для этой эпохи дела наши здорово плохи».....	208
«Но ворюги мне милей, чем кровопийцы».....	227
«Моя вина, моя война».....	241
«Все жаворонки нынче – вороны!».....	249

СЕРЕЖЕ МОРОЗОВУ ПОСВЯЩАЮ



Этой книги без него просто бы не было. Диссиденты четырех последних десятилетий привыкли к тому, что книгу труднее опубликовать, чем написать; что нести что бы то ни было в советские издательства бесполезно и что писать "в стол" в расчете на "Ардисы" и "Посевы" могут только гении типа Солженицына и Войновича; что если шедевры Аксенова и Владимирова имеют шансы печататься на Западе и вернуться обратно к себе в компактном, удобном для распространения виде, то все остальные свободомыслящие люди могли писать "товары массового потребления": листовки, письма протеста или памфлеты и недлинные статьи для самиздатовской прессы. Поэтому ни одной строчки из этой книги не было бы написано, если бы передо мной не появился Сережа и не уверил меня, что "Новости" – издательство настолько независимое, что вполне готово такую книжку выпустить.

Сережа показался мне типичным шестидесятником но не XX века, а XIX, что-то из времен сытинских, пушкинских, щедринских журналов и изданий. Я думаю, что он сумел бы и Гоголя убедить не жечь рукопись "Мертвых душ", а отдать Издательству "Новости". Сережа был типичным просветителем: он не пытался дать автору поменьше и выгодно заполучить рукопись для издательства; он, видимо, понимал, что авторы-диссиденты привыкли к оплате годами заключения, а не рублями и совершенно не умеют торговаться, и старался сунуть процент побольше и условия повыгодней, и не стал смеяться, когда я перед ним извинилась за то, что вообще беру за это деньги.

Сережа волновался, что я не вернусь из Грузии: я сказала, что нет смысла начинать книгу до возвращения, потому что если там убьют, то и окончить не успеешь.

Сережи не ездил в Грузию. Но я вернулась, а он нет. Он не вернулся из обычной больницы, потому что в бывшем СССР убивают не только на войне и не только тех, кто участвует в схватке. Советская система создала уровень медицины, при ко-



тором можно умереть просто потому, что на три дня позже, чем положено, начнут вводить гамма-глобулин. Система убила его не целенаправленно, а по недосмотру, походя, потому что Сережа со своими английским и французским и со своими идеалами был ей просто не нужен. Интеллигенты всегда гибнут первыми: они не умеют лезть без очереди и бороться за свое существование.

Мне кажется, что Сережа хотел выхода этой книги не ради коммерческой выгоды, а ради той же цели, для которой были все "Грани", "Посевы" и "ИМКА-пресс". Сереже было 35 лет. Он хотел, чтобы эта книга вышла. И пусть она выйдет ради него и таких, как он.

Валерия Новодворская



ЧАСТЬ 1.

Война

ИСПОВЕДЬ НА НЕЗАДАННУЮ ТЕМУ



Было ясно, что эту книгу писать нельзя. Нельзя писать мемуары о "революционной деятельности", если они будут напечатаны не в Швейцарии, не в "Ардисе", не в "ИМКА-пресс", не в "Посеве", а в Издательстве "Новости", на твоей собственной злополучной Родине – до всякой революции; и если расплачиваться с тобой будут не сроком, а "деревянными", порядком уцененными, но еще годящимися к употреблению! Мне всегда казалось, что должно быть "или-или". Или они – или мы. Или свобода – или рабство. Или коммунисты – или антикоммунисты. Или КГБ – или возможность напечатать такую книжку. Или партаппаратчики у власти – или мы на свободе. Так и было в нормальные доперестроечные времена. Нельзя писать такие книги в растленное время "и – и". Нельзя писать, нельзя выступать, может быть, и говорить-то нельзя. Но когда на улицах у меня стали просить автографы, а средства массовой информации начали предоставлять прямой эфир (только что уехала одна группа, которая сняла даже моего кота! Вот это будет передача: "Девушка с персиками", "Девочка на шаре", "Купчиха за чаем" – и "Революционерка с котом!"), я поняла, что что-то нужно делать. А когда в метро стали подходить немногие оставшиеся (уцелевшие!) в стране хорошие люди и благодарить, я даже поняла, что именно надо делать: надо или стреляться, или каяться. В чем каяться? В бесполезно и недостойно прожитой жизни. А если это так не по моей вине, то это опять-таки мои трудности. Я не хочу ничему научить других. Я уже поняла, что каждый умирает в одиночку и что наглядность, вопреки Яну Амосу Каменскому, не золотое правило дидактики. Мир необучаем. "Наши письма не нужны природе", даже если они написаны кровью.

Я ничего не хочу уяснить для себя – я себе уже все доказала.

Я не хочу отречься от своих установок. И пусть они не соответствуют мировым отношениям: тем хуже для мировых отношений.



Но я не хочу быть героем этого времени.

Не хочу играть отведенную мне роль. Даже отрицательным героем быть не хочу! Когда я слышу слова восхищения, мне хочется куда-нибудь убежать, провалиться сквозь Оливиновый пояс. Покаяние – это тоже бегство. Бегство от своего и чужого вранья. Не лжи, благородной книжной лжи, а низменного советского вранья. Я не верю в святую Церковь и не признаю ее, как любой другой авторитет. Она тоже изменная, тоже советская. Поэтому церковное покаяние мне заказано. Один праведник как-то сказал: "Я могу принести на алтарь только одно: мое разбитое сердце". Я хочу покаяться не для того, чтобы меня простили. Кто без греха, кто посмеет бросить камень? То есть бросят-то многие, но их камни не попадут. К тому же прошлое неотменяемо, а простить – это значит отменить. Я не могу переписать жизнь набело, даже если сам Иисус Христос простит мне черновик. Скорее всего, и книга не поможет. Но теперь-то понятно, что написать ее меня побудило отчаяние, которое не выбирает средств.



Я, ЮНЫЙ АНТИСОВЕТЧИК СОВЕТСКОГО СОЮЗА...



Только сейчас, десятилетия спустя, я поняла, что я из одного теста с Павкой Корчагиным, как я от него ни отрекайся. Все-таки КПСС, вопреки своим собственным интересам, удалось воспитать из меня настоящего коммуниста, хоть и с антикоммунистическим уклоном. Теперь до меня доходит, что конфликт между мной и эпохой заключался отнюдь не в том, что я была человеком Запада, а все остальное принадлежало советской действительности и тяготело к большевизму, а как раз в том, что я была законченной большевичкой, а так называемая застойная действительность – сытая, вялая, более частная, чем общественная, тяготела к Западу гораздо больше, чем я.

Ведь что такое Запад? Это приватность, спокойное, растительное существование, осложняемое личной борьбой за совершенствование в своем деле. На Западе необязательно каждый день идти на бой за жизнь и свободу. Там можно просто жить, а не бороться. Если спросить у американца, во имя чего он живет, он посмотрит на вас, как на бежавшего из ближайшего сумасшедшего дома. Зато большевик с ответом не затруднится. Он скажет, что живет, зажатый железной клятвой, во имя победы мировой революции. Моя трагедия заключалась в том, что я родилась слишком поздно, когда СССР проиграл Западу в своей "холодной войне", и не в силу отставания по количеству мяса, яиц, молока и баллистических ракет на душу населения – а в силу человеческой природы.

Байрон это так объясняет: "Вечный пламень невозможен, сердцу надо отдохнуть". Маяковский объясняет ироничнее, но доходчивее:

Шел я верхом, шел я низом,



Строил мост в социализм,
Не достроил, и устал, и уселся у моста.
Травка выросла у моста,
По мосту идут овечки,
Мы желаем очень просто
Отдохнуть у этой речки.

Советский народ с 1957 года (в этот момент я с ним впервые соприкоснулась на уровне первого класса школы) и до конца девяностых годов – это очень западный в смысле своих частных установок народ. И если бы в 70-е годы я задала вопрос рядовому советскому гражданину, во имя чего он живет, он посмотрел бы на меня примерно так же, как и американский (если бы дело происходило в частной беседе без партсекретаря и гэбешника из первого отдела). Анекдот гласил, что социализм – это когда всем все до лампочки. Я же не могла предположить, будучи верным последователем Софьи Перовской, Александра Ульянова и Германа Лопатина, что всем все до лампочки именно при капитализме и что это и есть нормальный порядок вещей! Если бы я родилась, где-то в 1917-м или даже в 1905 году, никакой трагедии бы не было. "Оптимистическая трагедия" Вишневского – это же пастораль! Разве умереть от руки врагов на руках друзей – это несчастье? Это же мечта каждого настоящего большевика, и здесь я большевиков понимаю и с ними солидаризируюсь. Попытка пойти против течения в 20, 30, 40-е годы не привела бы меня к личной трагедии. ВЧК или НКВД действовали оперативно и радикально. Причем обе стороны были бы довольны: НКВД уничтожил бы одного подлинного врага народа среди мириад мнимых, а я бы обрела судьбу из моей любимой (до сих пор!) песни: "Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ Время, товарищ Время". Уже одна только любимая песня меня выдает с головой. Павке Корчагину она бы пришлась по вкусу... И вкусы-то у нас одинаковые!

То ли сработали гены прадедушки – старого эсдека, основателя смоленской подпольной типографии, уморившего своим беспутным поведением отца-дворянина, помещика и



тайного советника, и женившегося в Тобольском остроге на крестьянке, получившей образование и ставшей революционеркой; то ли сказались хромосомы дедушки – старого большевика, комиссара в коннице Буденного; а может быть, сыграл свою роль и пращур из XVI века, Михаил Новодворский, псковский воевода при Иоанне Грозном, убитый на дуэли князем Курбским за попытку встать на дороге, не дать уйти в Литву (однако не донес по инстанциям!)... Словом, моя мирные родители взирали на меня, как на гадкого утенка. Однако мой большевизм был абсолютно неидеологизированного характера. Белые мне нравились не меньше красных. Главное – и те, и другие имели великую идею и служили России.

Революционеры Павкиного склада сами делали свой выбор. За них не решал никто. Поэтому мое представление о свободе ими не оскорблялось, так же как и героями войны – и гражданской, и Отечественной. Я очень рано поняла, что самопожертвование и сакральная идея – стержень бытия. Конечно, в другую эпоху я непременно сбежала бы то ли в Испанию, то ли в Трансвааль, а на худой конец юнгой в кругосветное плавание. И если я задыхалась от ненависти с 10 лет, читая в "Юности" разглагольствования о целине, то только потому, что идея героического долга там профанировалась до нудного землешествия и слишком отдавала коллективом. Может ли большевик быть таким степным волком, индивидуалом-одиночкой? Считается, что нет, что большевик – существо стадное. Но мой пример опровергает эту аксиому. Мой индивидуалистический большевизм привел меня еще в детстве к полному одиночеству и асоциальному поведению. Мне еще предстояло узнать, что рожденный свободным рождается и чужим. Но я, наверное, производила на взрослых престранное впечатление. (Дети со мной просто не общались.) Говорила на равных, делала только то, что хотела. Наверное, только уровень знаний спасал меня от исключения из школы. Я ни разу не мыла класс, я не дежурила, я не проходила школьную практику, не ездила на сельхозработы, не занималась производственным обучением (в аттестате у меня прочерк). Я не играла на переменках, не научилась танцевать, занималась по университетским учебникам. Списывать, правда, давала, но с видом крайнего презрения. Ни один Онегин или Печорин не был таким лишним человеком, каким росла я. Меня ненавидели пламенно и страстно, но мне это даже нравилось. Мое царство было не от мира сего. Окружающие реши-



тельно отказывались меня понимать. Они думали о зарплате, о новой мебели, о коврах, в крайнем случае, о науке. Я же никак не могла найти случай совершить подвиг. Я еще не знала, что советская жизнь – единственная жизнь, в которой нет места подвигам. Моим любимым чтением была фантастика, усиленная романами о революции. Степняк-Кравчинский вместе с "Отверженными" и "93-м годом" Гюго были настольными авторами. Я очень рано стала примериваться, где бы поставить свою баррикаду. Надо мной летали Буревестники, а "Песню о Соколе" я выучила наизусть еще до школы, читая с пяти лет. Теперь-то я понимаю, что мы с Александром Грином любили одни и те же книги. Фенимор Купер, Гюстав Эмар, Майн Рид, Вальтер Скотт... Все это странным образом перемешивалось с Ибсеном, Байроном и биографиями Плутарха. Так же, видимо, воспитывались юные Володя Ульянов и Коля Бухарин слевой Троцким, но в шестидесятые годы это был большой нестандарт. Лет до двенадцати я мечтала стать пиратом (вскормлена на "Одиссее капитана Блада"), а потом, "встретившись" с Рихардом Зорге, – разведчиком. (Конечно, советским, а не агентом ЦРУ.) 1956 год для меня в детстве мало что значил, никаких диссидентов в моем окружении не было. Зато ранний Фидель Кастро, казармы Монкада и Сьерра-Маэстра были для меня большой приманкой. Вы скажете, что такой характер не мог быть ни добрым, ни милосердным? Не скажите! "Жестокость" Павла Нилина, наверное, была списана с природы, и такие Венки Малышевы в 20-е годы в глухих уездах, подальше от чрезвычайок, водиться могли. Неудивительно, что меня в 14 лет понесло в комсомол, в котором я не нашла никакой революционной романтики, но который, в отличие от Троцкого, я всерьез намеревалась переделать изнутри то ли в роту королевских мушкетеров, то ли в бригаду неуловимых мстителей. В 15 лет я обивала пороги райкомов и военкоматов, требуя послать меня во Вьетнам (мне был глубоко безразличен вьетнамский социализм, но вьетнамцы, с моей точки зрения, были слабее – а "Дон Кихота" к 1965 году я уже прочла и усвоила). Наверное, явись перед секретарями и военкомами Летучий Голландец, они были бы меньше удивлены. Они явно не знали, как меня сплавить с рук. Готовясь к карьере разведчика, я плавала, ходила в турпоходы, занималась греблей, альпинизмом, стрельбой, фехтованием, прыгала с парашютом. Спортсмена из меня, правда, не вышло. Скверное зрение и скверное здоровье вполне подходили для тихоня-отличницы, но не для будущего супермена. Спортивных данных у меня не было никаких, и если у меня что-то получилось (в



плавании и альпинизме), то на одной спортивной злости. Пять томов мушкетерской эпопеи Дюма были зачитаны до дыр, а французскую экранизацию я смотрела 25 (25!) раз. К тому же на экраны где-то в 1965 году вышел американский фильм "Спартак". Его я смотрела 15 раз. Уже в 15 лет у меня не было сомнений: надо или сражаться с гвардейцами кардинала, или поднять восстание рабов. Естественно, что, когда я в 17 лет узнала, что у власти в моей собственной стране как раз гвардейцы кардинала, а вокруг одни сплошные рабы, я не стала проливать слезы, а сочла это подарком судьбы. Собственно, я получила тимуровское воспитание (не размениваясь на помощь старушкам). Я не жалею о нем и не отрекаюсь от него. Мне и сейчас дедушка Гайдар ближе и понятнее внука. Если люди делятся на мужей совета и мужей войны, то я, бесспорно, принадлежу к последним. Не следует думать, что к 1967 году я плохо знала Чехова, Достоевского, Гаршина, Тургенева. Я их отлично знала, но не считала своими. Это было "чуждое мне мировоззрение". Рефлексии во мне было не больше, чем в д'Артаньяне или в Робин Гуде. И сейчас, когда я пишу эти строки, эти фольклорные личности для меня важнее и роднее братьев Карамазовых, князя Мышкина и Лаевского с Ивановым. Ну и Бог с ним! Спасибо большевикам за мое гражданское воспитание. В сущности, они восстановили в России культ добродетелей Рима: Отечество, Честь, Долг, Слава, Мужество. Со щитом или на щите – и никаких сантиментов. Человек и гражданин – это синонимы. Хорошо бы это осталось нам на память об СССР, но ведь даже в 1965 году такие идеи были уже антиквариатом. А печально знаменитый Павлик Морозов ничем не хуже консула Брута, казнившего своих сыновей за попытку реставрации царской власти. А Тарас Бульба, а Маттео Фальконе из новеллы Мериме? Казни мне претили (со времен капитана Блада я усвоила, что убивать можно только в бою, а безоружного нельзя и пальцем тронуть, и мои милые мушкетеры только укрепили меня в этом убеждении. Странно, но идею Добра я постигала через воинский кодекс чести). А гражданину место было или на форуме, или в легионе. Мне это подходило. Люди такого типа только и могли бы разрушить СССР и дать России новый идеал, и если не произошло ни то, ни другое, то только потому, что таких людей было мало. Я знаю, что это давно не модно, но, что "Россия, Лета, Лорелея" – сначала, а приватное – потом, навсегда останется моим твердым убеждением. Клин выбивают клином. Фашистов изгнали в основном коммунисты, которые были не лучше. Я всегда предпочту самого последнего коммунистического фанатика



самому милейшему интересанту- обывателю. Ибо можно переубедить и сделать антисоветчиками и Павку Корчагина, и тимуровцев, и молодогвардейцев, но я не берусь ничего доказать брокеру с приличным доходом в свободно конвертируемой "капусте", ибо в его системе координат нет ни "жизни за царя", ни жизни за республику, а есть просто жизнь – нейтральная и не-присоединившаяся, как девица с панели.



«В РОССИИ НИКОГО НЕЛЬЗЯ БУДИТЬ»



До 17 лет о политических и социальных вопросах я знала не больше Маугли. Не в силу своей слепоты и неразвитости, а просто потому, что вокруг были джунгли. Советская приватность была джунглями, где ничего не знали и не хотели знать о мировых вопросах, диссидентах, "вражеских голосах", репрессиях в стране. В 20-е и 30-е годы дул слишком сильный ветер, чтобы можно было куда-то уползти, от чего-то уклониться, а после... эпоха "застоя" мне лично показалась накрытой одеялом, где было темно, мягко, тепло – словом, весьма приятно и весьма приватно. Я чувствовала, что здесь что-то не так, ведь в моих любимых книгах не было одеяла, а был мир, "открытый настежь бешенству ветров". В 1967 году отец,, положил мне на стол "Один день Ивана Денисовича". Это входило в джентльменский набор и должно было стать чем-то вроде похода в консерваторию или Пушкинский музей, куда меня безжалостно гоняли с 10 лет, пока я не вошла во вкус. Ах, прекраснородушные интеллигенты! "Ах, декабристы, не будите Герцена, в России никого нельзя будить!" Эта книга решила все. Не успела я дочитать последнюю страницу, как мир рухнул. Неделю я ничего не видела, кроме красного солнца над белой снежной пустыней. "Шаг в сторону – считается побег. Конвой открывает огонь без предупреждения". Но я не испытала желания повеситься или бежать в Южную Америку, как мой любимый Овод, которого я в этом пункте всегда плохо понимала. Теперь я знала, что буду делать всю оставшуюся жизнь. Решение было принято в 17 лет, и, если юный Ганнибал поклялся в ненависти к Риму, я поклялась в ненависти к коммунизму, КГБ и СССР. Вывод был сделан холодно и безапелляционно: раз при социализме оказались возможными концлагеря, социализм должен пасть. Из тех скудных исторических источников о жизни на Западе, которые оказались мне доступны, я уяснила себе, что там "ЭТОГО" не было. Следовательно, нужно было "строить" капитализм (представьте себе Павку Корчагина, в воде по пояс строящего капитализм, а ведь мой стиль был ближе к Павке Корчагину, чем к Форду). Слава Богу! Моей стране оказалась нужна еще одна революция. Я кинулась читать Ленина, заглотала Полное Собрание Сочинений и едва не задохнулась от яро-



сти: везде были следы жестокости, насилия, лицемерия, компромисса. У меня не было постепенного прозрения, градации в становлении взгляда на эти вещи. И Ленин, и Сталин, и коммунизм, и социализм, и 30-е, и 20-е, и 60-е – все пошло акулам на обед. Середины для меня быть не могло. Все или ничего! Раз капитализм для них табу, значит, даешь капитализм! (Как Магнитку или первую линию метро.) Дальнейшее было просто и ясно: создать кружки, потом тайные общества, потом партию "нового типа", поднять народ на восстание против власти (вооруженное, конечно!), свергнуть строй (прямо по формулировке 70-й статьи) и после революции строить капитализм, освободив Восточную Европу и угнетенные республики. План был прямолинейный, как клинок, и прозрачный, как хрусталь. В возможности его реализации я не сомневалась: ведь большевики своротили монархию, почему бы нам не своротить социализм? В 17 лет для человека, черпающего свои представления о жизни из Римской истории и из Степняка-Кравчинского, невозможного мало. Набредя ощупью на Евангелие, я самого Иисуса Христа взяла себе в сообщники. Конечно, я ни тогда, ни сейчас не усвоила ничего относительно смирения и всепрощения, но я привыкла с тех пор считать Иисуса своим товарищем по борьбе. Наглость невероятная, но он мне снился и вопрошал, когда же я начну свои революционные действия по свержению строя. Конечно, мое христианство было сродни христианству Желябова и Верочки Фигнер, но кто сказал, что оно хуже канонического? По-моему, Хлодвиг, который при знакомстве с историей, случившейся на Голгофе, воскликнул, что никогда бы не позволил совершиться казни, окажись он на месте со своей дружиной, понял самое сокровенное в этом учении. И зря крестивший его епископ поражался наивности и некомпетентности дикаря! Христианство – это вызов, брошенный миру, это попытка поднять людей до звездных сфер, до тайны человечности и свободы, а когда оказалось, что рожденные ползать не могут летать, Иисус швырнул им в лицо свою страшную смерть, свои пытки, как пощечину. Голгофа была не спасением, а наказанием мира, и никто не убедит меня в обратном. Я обратилась за разъяснениями к своему школьному "словеснику", державшему себя совсем Печориным и вовсе не похожему на советского учителя, и узнала кое-какие детали о мире, куда меня закинул Рок. Узнала, что есть Самиздат (одного факта запретности книги мне хватило бы для решимости свергнуть строй), прослушала в пересказе пару глав из "В круге первом" ... А главное, услышала, что я живу в такой страшной стране, что, если бы на



нее упала атомная бомба и убила нас всех, но уничтожила и строй, это был бы желанный выход. Впрочем, меня уже не надо было подгонять, однако с тайным обществом приходилось ждать до поступления в институт: школьные ресурсы не давали мне никакой возможности устроить кузницу революционных кадров. Чтобы не терять времени, я стала писать вполне антисоветские сочинения, на уроках обществоведения заниматься антисоветской агитацией и пропагандой, а в газете "Комсомольский прожектор" публиковать нечто уже совершенно листовочное. Мои сочинения благородно скрывал от недобрых глаз тот самый преподаватель словесности: несчастный обществовед терпел все мои выходки, больше моего зная о том, куда я попаду с такими настроениями и, главное, с такой откровенностью; по доброте душевной он даже не пенял мне на то, что я и его подставляю, устраивая на каждом уроке антисоветский митинг. К моей газете (выпуск ее был моей долей работы в школьном комитете ВЛКСМ, ленивые и нелюбопытные райкомовцы до последнего звонка продолжали считать меня заправским активистом и едва не послали в Артек) сбегалась вся школа; через час приходил директор, снимал ее и, затравленно озираясь, уносил к себе в кабинет. Он был порядочным человеком и не побежал в КГБ, хотя и было с чем. Я думаю, что мои бедные преподаватели мечтали только о том, чтобы меня не арестовали прямо на уроке. Они отпустили меня с миром и с медалью (отказ от "труда" был оформлен "по состоянию здоровья"), но в ту пору я не оценила их. Я не могла понять, почему они не ведут революционную борьбу, и с порога зачислила их в обыватели. (Я не любила людей, за исключением тех, кто шел в той цепочке под красным зимним солнцем Солженицына; но я научилась любить Россию, когда поняла, что она несчастна.) Никаких проблем с идентификацией Отечества у меня не было: я прекрасно понимала, что Украина, Крым, Средняя Азия, Прибалтика – за граница. Моя Россия была страстотерпицей, она была бедная, заплаканная, серая, грязная; это была Россия Есенина и народников, в ней цвела одна только картошка, шли дожди, ее срочно надо было спасать, и я, основательно проглотив Ключевского, влюбилась в нее по уши, как Дездемона – за муки, и понимала, что меня непременно должны задушить из-за моей непомерной любви, когда я потеряю платок. Школьный литератор пытался меня образумить, предметно объясняя, что мне пора спать на гвоздях и тренироваться есть баланду; это только подлило масла в огонь. Я упорно рвалась на минное поле.



«ДА СГИНЕТ ДЕНЬ...»



Один чистый и пламенный фанатизм никогда и никогда не доводил до добра. На довел бы и меня, язычницу, еретичку и большевичку, если бы, на мое счастье, к моему неистовству не примешалась темная струя вины. 1968 год грянул как труба Страшного суда. Когда я увидела реакцию окружающих интеллигентов, только тогда я поняла, насколько растоптана мая страна. Они радовались чужой свободе, взлету Чехословакии как чему-то для них навсегда недостижимому (с оттенком чувства "пусть хоть кто-то поживет..."). В этой радости было столько усталой покорности судьбе, что становилось жутко. С каким ужасом я читала все "последние предупреждения" Дубчеку! Вторжение было селекцией. Все вокруг разделились на два лагеря: одобряющих и негодующих. Первые становились навеки чужими, вторые были свои. Конечно, это было мое впечатление: не у всех на этом сломалась жизнь. Когда ухаживающий за мной мальчик с телевидения что-то сказал мне насчет "консолидации нашего общества после Чехословакии", я вырвала руку прямо на улице и ушла и никогда больше не отвечала на его звонки. Мои планы из области теории становились насущными. Зло не относилось к области сталинских преданий, не упокоилось в колымской земле, оно и сегодня терзало, ломало хребет, казнило и мучило тех, кто дерзнул быть свободными. "Так жить нельзя" – не вообще кому-то, а мне лично нельзя жить, потому что это мои танки, – этого хватило на то, чтобы все время, оставшееся до моего ареста (с небольшим год), я провела, как на сковородке в аду, угрызаясь денно а ночью, проклиная себя. За каждый кусок и каждый глоток, за каждый лишний день, проведенный не в тюрьме, Прага преследовала меня, как наваждение. Я, видимо, совсем не годилась в христианки, потому что не могла выносить чувство вины. Хотелось содрать его с себя вместе с жизнью, как хитон Деяниры. В августе, в 20-х числах, меня не было в Москве, и на свою Сенатскую площадь я безнадежно опоздала: семерка диссидентов вышла на Красную площадь без меня. Впрочем, будь я в Москве, они вряд ли меня бы позвали, и не потому, что не знали (хотя и это тоже), но еще и потому, что мое революционное настроение не вызвало бы одобрения не у Павла Литвинова, ни у Ларисы Богораз. Мы не



поняли друг друга даже в восьмидесятые, не то что в шестидесятые. Я бы, конечно, увязалась, но с очень крутым лозунгом и, пожалуй, добавила бы 70-ю статью к их 1901,3. Мое стремление делать оргвыводы (Карфаген должен быть разрушен) очень раздражало старшую диссидентскую генерацию.

Но в 1968 году я ничего этого не знала и не уставала себя проклинать и за то, что кто-то пошел на это без меня (в своем самомнении я считала, что со мной было бы легче). В гибели Яна Палаха я тоже винила лично себя. В августе 1968 года я стала настоящим врагом государства, армии, флота, ВВС, партии, Варшавского блока. Я ходила по улицам, как подпольщик на оккупированной территории. Именно тогда я решила, что за все эти дела (про Будапешт я тоже успела узнать) есть только одна мера наказания – разрушение государства. И сегодня, когда оно полуразрушено и лежит в крови и пыли, когда гибель его вместе со всем народом кажется весьма вероятной, во мне нет ни жалости, ни раскаяния. Да сгинет день, в который СССР родился! Пусть он станет нам всем братской могилой, но не вернется с кладбища ночью, как вурдалак, чтобы сосать кровь у еще живых, в СССР не бывших – или недолго пробывших и, как Балтия, имеющих шансы спастись.

Грохот танков в Праге на год пробудил интеллигенцию: невозможно было спать, когда под гусеницами корчилась и стонала чужая окровавленная воля. Но круги по воде перестали расходиться довольно скоро: вечный полюс снова все заморозил, даже крик на губах. Про "Хартию-77" мы узнали слишком поздно, уже в восьмидесятых, да и оставалось до нее больше восьми лет. В это время я уже писала скверные стихи; Прага меня довела до того, что я даже обокрала Цветаеву, заменив все, кроме размера и стиля.

Мокнут день и вечер,

Лист газетный белый...

Ненавидеть нечем:



Все переболело.
Вновь к привычной роли,
В старые невзгоды,
Двадцать лет неволи,
Двести дней свободы.

Хорошо еще, что в многочисленных бумагах, которые я заполняла перед поступлением в ИНЯЗ им. Мориса Тореза, не было вопроса: цель поступления. А то пришлось бы указать: революционная борьба.



МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ



Мне крупно повезло, с точки зрения любого совка, желающего выйти в люди; ИНЯЗ был элитарным вузом, который открывал дорогу к советской мечте (коммунистическая мечта на ее фоне была просто праздником духовности): к работе за бугром, к возможности иметь "капусту", привозить шмотки, к престижному браку. В ИНЯЗ мог попасть простой смертный (в 1968 году еще мог), без всяких связей; просто брали "наверх" за способности. Вот в МИМО этот номер уже не проходил, туда "черная кость" и "кухаркины дети" попасть не могли. Воспитанная на бесклассовом идеале парижских коммунаров, моих больших приятелей (несмотря на клятву сокрушить коммунизм) – и тогда, и теперь, я и не подозревала, что принадлежу к "кухаркиным детям". В ИНЯЗе выяснилось, что я вполне Золушка, только без феи. Мои родители принадлежали к скромной касте служилой интеллигенции, зарабатывали гроши, и до моих 16 лет мы жили в полубараке на сваях, в гнусной коммуналке, в одной комнате втроем, при печке, но без ванны и горячей воды. Конечно, такие плебеи водились и в ИНЯЗе: группы 104, 105 были своеобразным рабфаком, на котором заранее ставили крест, которым забугорная жизнь не светила; их набирали в качестве нагрузки (армия, трудовой стаж, рабочее происхождение), чтобы компетентные органы не совались в дела института и дали жить всем остальным. Но меня ведь взяли в 102-ю спецгруппу, как многообещающего разночинца! Я была одета скромно до неприличия, у меня не было ни мехов, ни драгоценностей, ни цветных лаковых сапог, ни брючного костюма. Все вокруг меня окончили спецшколу, у большинства были машины, дачи, огромные номенклатурные квартиры. Это ретроспективный взгляд: тогда меня все это не интересовало и не унижало. Чистая наука была соблазном гораздо более сильным, чем советская мечта.

Французский факультет помещался в здании бывшего ИФЛИ и помнил Павла Когана в Михаила Кульчицкого.



Преподаватели были не советского, а сорбоннского разбора. Ида Ароновна Лифшиц со своим латинским языком умела увести в Древний Рим, а профессор Ярхо – в Элладу; Ирина Георгиевна Торсуева заставляла "балдеть" от лингвистики, а Наталья Тихомирова купала нас в парижской атмосфере своего неповторимого учебника. Советская обязательность ютилась по углам и на глаза не лезла, атмосфера института была почти западной, в нем преподавали и живые французы, а большинство преподавателей успели пожить во Франции. Потом уже я узнала, что меня с первого курса пытались поделить три кафедры: аспирантов, больше склонных копаться в фолиантах, чем искать фортуны переводчика, отбирала заранее. Это было соблазном, и соблазн приходилось преодолевать. Чистого знания, возможности получить блестящее образование мне было не положено; я не вправе была жить. Еще на первом курсе я прослыла погибшим, конченным человеком: ниспровергала все существующее не только в кулуарах, но и в аудиториях, где это мог зафиксировать целый поток. На лекциях по истории КПСС я садилась за первый стол и демонстративно листала что-то постороннее, а на негодующие реплики преподавателя, читавшего свой курс по пожелтевшим конспектам 30-летней давности, отвечала вслух, что делаю это в знак протеста против насильственного изучения истории преступной организации, погубившей страну. За семинары студенты готовы были меня на руках носить: никого не успевали спрашивать, все время уходило на мои дискуссии с Яковом Израилевичем Стеркиным, причем я выступала то на троцкистской, то на бухаринской, то на буржуазной платформе. В конце концов я довела бедного преподавателя до публичной отповеди на тему о том, что он не может мне на своих занятиях предоставлять трибуну для антисоветской пропаганды. На студенческой конференции он же заявил, что не следует считать 1937 год мрачной эпохой: он-де помнит, что это было очень веселое и жизнерадостное время. Впрочем, это даже остальные преподаватели сочли за глупость. Факультетскую газету, куда меня вначале взяли, я сразу же сделала вполне идеологически диверсионной. Впрочем, старшие тертые студенты, особенно Ирочка с IV курса из комитета ВЛКСМ, поняли, чем это пахнет, и после первого же номера вытурили меня из газеты, "желая мне добра" (и себе тоже!). На конференции по чехословацкому вопросу и на ленинском зачете я вытворяла Бог знает что. Однако очень прилежно изучала военное дело



(будущее вооруженное восстание!) и военный перевод, а также знакомилась с армиями потенциальных противников, куда попали США, Франция, Англия и ФРГ. Меня очень любили, видя такое усердие, полковники с военной кафедры, ложно его истолковывали и предлагали перевестись в Институт военных переводчиков, прозрачно намекая на столь желанную когда-то карьеру шпиона. Но было уже поздно, я хотела работать не на это государство, а против него, только не в рядах ЦРУ. Я тогда считала что наша революция – наше личное дело. Когда я перешла на второй курс (и последний для меня в ИНЯЗе), девочка Ирочка из комитета ВЛКСМ вышла замуж за француза. Ей бы подождать до диплома, и тогда она спокойно могла бы пользоваться своим трофеем. Но она поспешила, и факультетское комсомольское собрание должно было исключить ее из комсомола; из института исключали в этом случае через неделю. Декан заготовила речь; приехали представители институтского комитета и райкома. Ирочка топила меня, как могла (история с газетой и моей подрывной деятельностью получила огласку), но здесь у меня не было ни сомнений, ни колебаний: надо было защищать. Ирочкины подруги со старших курсов, тоже присматривавшие себе мужа из-за кордона, молчали в тряпочку. Младшие отбывали "мероприятие". Ирочка рыдала и ссылалась на то, что ее муж – коммунист и работает на нашу пропаганду. Аутодафе шло своим чередом. Все знали мои с Ирочкой отношения и мой добродетельный большевизм (то есть отношение к жизни за рубежом, к замужеству и к импортным шмоткам), и никто от меня не ждал подвоха, поэтому слово мне дали. Я произнесла пламенную речь минут на тридцать, не оставив камня на камне от уготованного Ирочке костра. Что-то было там и о приоритете прав личности перед интересами государства, и о том, что есть вещи, в которые государство не смеет лезть. После этого все заготовленные выступления провалились: никто ничего не сказал; видимо, стыд все-таки что-то значит. Декан сидела красная как рак. Комитетчики тоже не выступили. Собрание закрыли без оргвыводов. Ирочка плакала и благодарила, выпускники жали руку и восхищались, и я почему-то сразу поняла, что так будет всегда: одобрение шепотом и восхищение на ухо.

Вскоре газеты сообщили о выстреле Ильина. Информации дали мало, но было ясно, что стрелять он хотел не в космонавтов, а в Брежнева. Я горячо и публично одобряла его



намерения; солидаризировалась, так сказать. К этому времени мои антисоветские стихи приумножились; таланта в них не прибавилось, но как листовки они смотрелись. Набирая свое тайное общество, я всем встречным и поперечным их давала читать. В ИНЯЗе работали и учились редкие люди: опять никто не донес! Я винила себя и в том, что вовремя не нашла Ильина и не пошла с ним вместе на расстрел. (Я же не знала тогда ничего про психиатрические тюрьмы.) Стихотворение, посвященное Ильину, распространялось по Москве достаточно широко в списках. Его посвящение было не меньшим вызовом, чем сам текст.

СВОБОДА

Юноше (В.Ильину), стрелявшему в

Брежнева, посвящается

Свобода плакать и молиться,

Высмеивать и отрицать,

Свобода жаждою томиться,

Свобода жажду утолять.

Свобода радости и горя,

Свобода сжечь все корабли,

Свобода удалиться в море,

Отказываясь от земли.

Свобода ниспровергнуть стены,

Свобода возвести их вновь,

Свобода крови, жгущей вены,



На ненависть и на любовь.
Свобода истерзаться ложью,
Свобода растоптать кумир –
По тягостному бездорожью
Побег в неосвященный мир.
Свобода презирать и драться,
Свобода действовать и мстить,
Рукою дерзкой святотатца
Писать: не верить, не кадить.
Свобода в исступленья боя
Традиций разорвать кольцо
И выстрелить с глухой тоскою
В самодовольное лицо.
Свобода бросить на допросах
Тем, чье творенье – произвол,
В лицо, как склянку купороса,
Всю ненависть свою и боль.
Свобода в мятеже высоком
Под воплей обозленных гром
Уйти, как прожил, – одиноким
Еретиком в гордецом.
Свобода у стены тюремной,
Повязкой не закрыв лица,



Принять рассвета откровенье

В могучей музыке конца.

1969 г.

По этому поводу у Юлия Даниэля есть отличные стихи:

"Хана, дружок мой. Я приехал.

Пускай войдут и заберут".



Я ВЫРЫВАЮ ТОМАГАВК ВОЙНЫ



К 1968 году КГБ уже позволял себе роскошь не карать за мыслепреступления. Оруэлловская классическая ситуация была сильно разбавлена приватной ленью и попустительством. Саблезубая большевистская кисанька наелась, и больше в нее не лезло. Вы могли тихо ненавидеть систему, и ничего. Суть этой тихой и "гуманной" эпохи "застоя" лучше всего выразил прокурор на процессе Сергея Ковалева где-то в семидесятых: "Нам все равно, какие у человека мысли. Главное – это то, чтобы он не высказывал их вслух". Поэтому не пришли и не забрали. Для ареста надо было подсуетиться.

В ИНЯЗе вербовать желающих войти в подпольную организацию было сложно: старшекурсники еще помнили историю Саши Б., выпускника с отделения математической лингвистики, который к августу 1968 года написал обращение-извинение за подлость советского правительства, адресованное чехословацкой общественности, и оставил его, не успев еще передать, в портфеле (кейсов тогда не было) во время практики в "Интуристе". Девочка-сокурсница полезла туда за яблоком, увидела обращение и... передала его ближайшему дежурному гэбисту. Сашу не арестовали. Дело передали в комсомольскую организацию. Его курс (все его приятели), разделявший в основном его взгляды, проголосовал за исключение из комсомола и рекомендацию ректорату отчислить из института (за два месяца до диплома). Разбирательство происходило не в нашем здании, а в помещении переводческого и английского факультетов на Метростроевской. Увидев единодушно поднятые руки, Саша закричал, что он не может больше жить, выбежал на Крымский мост и бросился в воду.

На его несчастье, его выловили оттуда. Никто из студентов ИНЯЗа не знал, что с ним сделали. Один талантливый мальчик из нашего латинского кружка, на втором курсе уже пи-



савший будущую диссертацию, встретил его на улице и не посмел спросить, что с ним делали: очень уж плохо Саша выглядел. Однако всем было ясно, что делали с ним что-то страшное. При нашем тогдашнем уровне осведомленности никто не догадался, что это страшное было – психиатрический вариант. Это стало понятно мне только теперь. Только после этого вида истязаний человек выглядит так, что нельзя задать вопрос...

Однако в новогоднюю ночь 1969 года на студенческой вечеринке в одном аристократическо-номенклатурном доме мне удалось, произнося пламенные речи под замороженное шампанское (которое я даже не попробовала, по своему обыкновению; бедность, целомудрие и абсолютная трезвость тоже делали меня парией в инязовской среде), положить в фундамент антисоветского подполья одного Андрюшу из метроостровского здания (переводческий факультет) плюс еще одного Андрюшу с Сережей из МИМО. Дальше прибавились подпольщики из нашего сокольнического здания "немцы" и "французы"), кое-какие мимошники и группа из Ленинского педагогического, которой руководили Ира и Наташа. Самое ценное приобретение – это была группа из Физтеха. Его студенты, особенно из общежития, уже тогда были авангардистами. Например, в октябре 1969 года они ждали конца света, именно в тот день (но не дождались), который был обещан в рассказе Р.Брэдбери "Завтра конец света".

Все "подпольщики" были моложе меня на год: мне 18 лет, им по 17. С самого начала я завела строгую конспирацию: группы не знали друг друга, связь осуществлялась только через меня, что всех и спасло потом, после моего ареста. Все делалось в лучших традициях исполкома Народной воли или той самой бывшей РСДРП, с которой мы собирались бороться: была написана роскошная программа, и минимум, и максимум. У одного из Андрюш брат служил в Кантемировской дивизии, и Андрюша меня клятвенно заверил, что в нужный момент этот самый брат введет танки в Москву и захватит Кремль. Студенческий кружок с самого начала приобрел характер игры в военный заговор. Программа-минимум предполагала подпольную революционную деятельность, листовки, Самиздат, покупку оружия, захват арсеналов (sic!), массовое движение Сопrotивления (мой



любимый антифашизм). Программа-максимум начиналась с народного восстания против КПСС, вооруженного свержения власти с помощью армии, перешедшей на сторону революции, и установления западной демократии. Интересно, что я в 18 лет все-таки понимала, что это все чепуха, дела далекого будущего, что реально мы сделать это не сможем, а можем распространять листовки и Самиздат, программы же пригодны на то, чтобы "бросить вызов" и "возвестить". Мои коллеги по подполью, по-моему, играли совершенно искренне, собираясь расклеивать листовки с пистолетами за пазухой. Я им не мешала играть, потому что считала, что мы все пойдем на смерть; имеют же они право на маленькие развлечения по дороге? Была написана куча антисоветских памфлетов (конечно, в основном мной); к этому времени я настряпала множество антисоветских стихов, один преступней другого, не считая воззваний и манифестов. Это все была глубоко самобытная и отечественная продукция, плод близкого знакомства с римской и греческой историей, а также с теорией и практикой народников, декабристов, народовольцев и ранних большевиков. Никто из нас ни разу не видел живого диссидента и не слушал "голоса". Всю нашу продукцию мы интенсивно распространяли в своих институтах среди студентов и наиболее милых нам преподавателей. И опять никто не донес! Мы родились в рубашке. Нашу ближайшую перспективу я честно обрисовала членам организации, которая называлась "Союз борьбы" (потом – "Антифашистский союз борьбы"): арест, пытки, расстрел. Мне казалось, что такая перспектива вполне улыбается моим коллегам (ведь мне она улыбалась!). Интересно, что УК РСФСР я читала, но не поверила, что за такую деятельность по статье 70 могут дать всего 7 лет лагерей и 5 лет ссылки: здесь явно крылось что-то еще, что-то более крутое. (И в самом деле, УК – это было еще не все, но если бы я знала, что именно!) Преподаватели были в ужасе, хотя и одобряли идеи. Они все время пытались меня отговорить; наверное, я вела себя, как Красная Шапочка, не желающая ничего знать о существовании волков (Шарль Перро не предусмотрел варианта, при котором Красная Шапочка ползет в пасть к волку сознательно, по идейным соображениям). Я возражала, что хочу посеять семена протеста. Умные преподаватели как в воду глядели, они вздыхали и предупреждали: "Вы не посеете ничего". Но кто мог знать, что единственное, что можно сделать реально, – это погубить себя и еще нескольких человек, что на этой почве ничего не произрастет, кроме терниев и чертополоха, что это место – пусто?



Такие вещи лучше узнать позднее; в 19 лет это знание может убить. Отчаяние должно прийти в зените жизни, когда ум созрел, а сердце окрепло; только тогда оно не остановит, и можно будет продолжать драться вопреки очевидности, вопреки здравому смыслу, вопреки истории, эпохе, судьбе.

Если бы я в 19 лет знала, что все напрасно, скорее всего я бы устроила на площади самосожжение (а удачных было мало, кончались они теми же арестами и спецтюрьмами), но бороться бы не смогла. На первых порах неведение благословенно. Теперь я знаю все, но теперь я могу с этим жить в ожидании того счастливого дня, когда наконец-то вызову у своих антагонистов такое раздражение, что мне удастся с этим – и от этого – умереть. Но тогда я не поверила своим мудрым преподавателям, и слава Богу. Юлий Ким был более удачлив в своих попытках объяснить юным Ире Каплун, Славе Бахмину и Ольге Иоффе, что не стоит распространять листовки. По-моему, несмотря на доброе намерение Юлия Кима, это был большой грех: остановить жертву у алтаря. Надо молча склониться, благословить и дать совершиться судьбе, если не можешь пойти рядом. Это добровольное отступничество сыграло, по-моему, ужасную роль в судьбе всех троих и сломало их жизни почище всех казней египетских, которые мог обрушить на них КГБ. Мы еще вернемся к этим троице, ибо в Лефортове мы оказались одновременно.

Однако мне было мало того, что мы делали. Я требовала перехода к распространению листовок вне институтов в больших количествах. Это был уже не пятидесятипроцентный, а стопроцентный риск. И мои коллеги слиняли: у одного нашлась срочная курсовая, у другого – хвосты. Они стали меня избегать, перестали приходить на встречи. Общение со мной становилось опасным: в четырех институтах обо мне знали фактически все. Я уже ходила в смертниках, а они, должно быть, вовремя опомнились или посоветовались с родителями. Печатать на машинке я не умела, сделать массовые выпуски листовок одна не могла. Надо было что-то придумать. Трусость даже потенциальных противников режима была слишком очевидна.



А в это время я зачитывалась пьесами Сартра и Ануя, романами (вернее, эссе) Камю. "Антигону" в театре Станиславского, таганские и современниковские спектакли я смотрела по многу раз. Все они так и толкали меня "подняться из окопа". Я обязана была сказать "нет" этому порядку вещей так, чтобы это услышали по всей стране, иначе не было смысла.

По наивности мне казалось, что я кого-то разбужу (декабристов, Герцена, народовольцев). Оставалось завести будильник. У меня возник план своей операции "Трест", не очень честный, но не очень глупый: распространить листовки покруче публично, во Дворце съездов или в другом театре в праздничный день от имени организации Сопротивления, якобы массовой; дать себя арестовать; на следствии, никого конкретно не называя, рассказать, что есть массовая организация Сопротивления, борющаяся против строя, и что скоро она перейдет к терактам; испугать (sic!) этим чекистов, бросить им в лицо обвинения от имени трех поколений, ими уничтоженных, обличить режим на открытом (святая простота!) суде, добиться приговора к расстрелу, вдохнуть надежду в души людей, умереть по высшей категории, как мой любимый Феличе Риварес – Овод, – а потом вместо вымышленной организации создадутся настоящие, пойдут, как маслята: людям станет стыдно, что они молчат, и все поднимутся. План совершенно не учитывал реальную действительность, а так был всем хорош.

Идея с театром родилась у меня в тот вечер, когда в Театре оперетты из какой-то ложи или с балкона к нам в партер упала программка. Весь мой угол поднял головы, глаза у некоторых жадно заблестели, а один зритель даже сказал вполголоса: "А если бы это было что-то другое?" Я поняла, что люди чего-то такого ждут. Театр – идеальный вариант, можно бросить сразу много листовок, никто не успеет остановить, и разлетятся они тоже идеально.



Решение было принято в октябре 1969 года, день был выбран: 5 декабря, День Конституции. Наибольший эффект обещал Дворец съездов, там огромный зал и в праздничный день дадут что-нибудь идейное (дали оперу "Октябрь"). Оставалось придумать текст. Для одних листовок он был написан в прозе (преступления партии, прелести демократии, задачи Сопротивления, необходимость вооруженной борьбы с коммунизмом, который есть фашизм, приглашение вступать в группы Сопротивления). Подписана эта прелесть была "Московская группа Сопротивления". Текст был достаточно горький, шла речь и о Венгрии, и о Чехословакии. Он был несколько патетичен (в меру), но не был смешон. Отчаяние отучает от пошлого оптимизма, но все-таки уверенность в победе над советским "общественным и государственным" строем там была выражена. В 1969 году это было уместно, в отличие от 1992 года.

Вторая листовка (их было гораздо больше, процентов восемьдесят) была в стихах.

СПАСИБО, ПАРТИЯ, ТЕБЕ

Спасибо, партия, тебе

За все, что сделала и делаешь,

За нашу нынешнюю ненависть

Спасибо, партия, тебе!

Спасибо, партия, тебе

За все, что предано и продано,

За опозоренную Родину

Спасибо, партия, тебе!

Спасибо, партия, тебе



За рабский полдень двоедушия,
За ложь, измену и удушие
Спасибо, партия, тебе!
Спасибо, партия, тебе
За все доносы и доносчиков,
За факелы на пражской площади
Спасибо, партия, тебе!
За рай заводов и квартир,
На преступлениях построенных,
В застенках старых и сегодняшних
Изломанный и черный мир...
Спасибо, партия, тебе
За ночи, полные отчаянья,
За наше подлое молчание
Спасибо, партия, тебе!
Спасибо, партия, тебе
За наше горькое неверие
В обломки истины потерянной
В грядущей предрассветной мгле...
Спасибо, партия, тебе
За тяжесть обретенной истины
И за боев грядущих выстрелы
Спасибо, партия, тебе!



1969 г.

Оставалось все это написать под копирку в достаточном количестве. Изготовила я 125 штук. Пачку в 100 листовок можно было кинуть в партер сразу. Со стола я училась разбрасывать листовки веером, они у меня разлетались отлично даже со стола. Были куплены два билета: на 2 декабря и на 5 декабря на "Кармен" (генеральная репетиция). "Генералка" прошла хорошо. Стало ясно: бросать надо где-то без пяти до начала, когда зал уже полон, но есть свет, бросать из среднего прохода бельэтажа в партер. Было ли мне страшно? Нет, не было. Я ведь и в аресте, и в пытках, и в казни видела свой долг. Жить было нельзя, бессовестно, невозможно. Но я волновалась, как студент перед экзаменом. Знаешь, что пару не поставят, тройку тоже вряд ли, все выучил, но вдруг 4, а не 5, вдруг не высший балл? А вдруг не дадут бросить? А вдруг арестуют до акции?

Только один раз стало немного жутко: в недрах бывшей ифлийской библиотеки, у нас в Сокольниках, где я разбирала хранилище вместо картошки, куда загнали весь курс, кроме самых дохлых, вроде меня, я откопала 10-томную историю Испании, испанского автора. Я жадно поволокла первый том к выдаче, чтобы записать себе, но вдруг поняла (это был уже ноябрь, 17-18 число), что все 10 томов прочитать не успею. Я как будто заглянула в свой собственный гроб. Но усилием воли выкинула это из головы и взяла Спинозу.



«СЕЙЧАС ДОЛЖНО ПРЕДПИСАННОЕ СБЫТЬСЯ...»



5 декабря я пригласила к себе Сережу из Таганрога, самого перспективного и наименее робкого студента из группы Физтеха. Накормив его пирожными и напоив кофе с коньяком, я поделилась с ним планами на вечер. Сережа не выразил желания пойти со мной "на дело" (на что я втайне рассчитывала), но и не убежал. Мы не стали убирать со стола, что дало потом комсомольским вожакам института основания говорить, что я пошла совершать государственное преступление после оргии, хотя коньяк пил один Сережа. Сережа вызвался меня проводить до Дворца съездов. Что ж, и на том спасибо. По-моему, он не понимал, чем это кончится, хотя и сказал, что обязан лечь поперек двери и меня не пустить, но понимает, что тогда я выпрыгну в окно. У Дворца съездов он посетовал, что уйдет пешком, а я уеду на красивой черной машине. Меня это не очень огорчило: мои любимые экзистенциальные и античные герои умирали в одиночку. В те дни буфет Дворца съездов являл собой зрелище упоительное и недорогое (взбитые сливки, шоколадные конфеты, блины с икрой, семга, балык, мороженое, пирожные). Но я от волнения не могла есть (потом я два года буду вспоминать несъеденные дома пирожные и непосещенный буфет Дворца).

Время от времени я смотрелась в большие зеркала фойе. Особенной бледности не было, я всегда была зеленоватого цвета, без румянца; зубы не стучали, губы не дрожали. Все было о'кей. Спектакли тогда начинались в 18.30. В 18.25 я вошла в центральный проход, но – о ужас! – молодая пара подошла к барьеру. Я быстро дошла до соседнего прохода и швырнула свою пачку в 100 листовок в партер. Как мне стало легко, какая ноша свалилась с плеч! Назад дороги не было. (Может быть, и Сережу-то я привлекла, чтобы не было искушения убежать. Всю дорогу, весь час до начала оперы моя воля держала за шкуру барахтающееся в ужасе и тоске брэнное тело, которое тихо, про себя вопило: "Не хочу!" А душа и воля тащили его и говорили: "Должно, сможешь и сделаешь". Со стороны, конечно, этого заметно не было.) Весь партер одновременно вздохнул:



"Ах!" – и это было как рокот моря. Я взглянула вниз: все читали мою листовку. Какое блаженство! Я повернулась к бельэтажу, устроила маленький митинг и раздала остальные листовки. Если бы я знала, что их будут так хватать, я бы изготовила вдвое больше! Их разбирали, как глазированные сырки. Из партера прибежала девочка и попросила листовку для них с мамой, "а то нам не досталось". Старенькая, выдавшая виды служительница театра шептала мне: "Уходите скорей!" Но мне нужен был процесс, и я наконец дождалась. Штатный гэбист, проводивший с семьей уик-энд, явился в бельэтаж и спросил, не я ли распространяю листовки. Я горячо подтвердила, что именно я. Он вцепился в меня так, как будто я собиралась бежать, вывел из зала в фойе и стал просить у зрителей помочь меня задержать, хотя свободно мог сделать это один. От него все отмахивались, дожевывая свои конфеты и блины. Один юноша даже сказал, услышав от чекиста про листовки: "Спасибо, что сказали. Пойду возьму, если осталось". Наконец нашелся какой-то полковник, взявший меня за другую руку. Вместе они привели меня в административный отсек (3-4 комнаты), посадили на диван и стали звонить на Лубянку: "Здесь женщина (взгляд на меня)... девушка (еще взгляд)... девочка распространяла антисоветские листовки".

Нашлись еще какие-то гэбешные оперативники (похоже, в такие праздники они обязаны дежурить на таких спектаклях) и пошли в зал просить листовки. Вернули им 40 штук, 5 нашли разорванными. Пошли за остальными, вернулись: "Они не отдадут!" Мой триумф был полный: 80 штук зрители сохранили, несмотря ни на что (а тогда это было весьма опасно, могли и обыскать весь зал). Ожидая компетентные органы, я агитировала злых оперативников и равнодушных администраторов. Судя по их репликам, оперативники боялись, что придется отвечать за ЧП; администратор стонал: "Почему в мое дежурство?" Революционного рвения никто не проявлял, кроме одной группы ветеранов войны (самые перспективные в смысле гражданской войны люди), которые рвались в дверь, орали, что им испортили праздник, что они за этот строй воевали, и просили дать им меня, чтобы они могли убить меня собственными руками. Парочка прорвалась и стала засучивать рукава.



Я встала с дивана и гордо шагнула навстречу, хамя ветеранам, как только это возможно (рабы, холопы, клеветы, опричники и т.д.). Оперативники развели нас, как на ринге, выталкивая ветеранов с воркованием: "Ну что вы волнуетесь, есть же компетентные органы, они приедут и займутся..." Но органы что-то не ехали до 23 часов. Они явно стояли на страже завоеваний Октября с 10 до 18 с обеденным перерывом с 15 до 16 часов плюс два выходных в неделю, но никак не по праздникам. Теперь я понимаю, что V отдел искал какого-нибудь следователя, собирал подчиненных из-за праздничных столов на ликвидацию стихийного бедствия, и это длилось четыре часа, хотя от Лубянки до Дворца съездов было рукой подать. Эта обломовщина, так непохожая на стандарты 20-30-х годов, могла бы навести меня на некие мысли. Но не навела: мне было 19 лет.



«АРЕСТОВАННЫЙ – ЭТО ЗВАНЬЕ»



И вот наконец появились трое, прилично, но скромно одетые, и представились администратору. Да, это были Они. У одного были очень впечатляющие глаза: холодные, нездешние, какие-то нечеловеческие. Глаза существа другой породы, другой биологической природы. Потом я много раз видела эти гэбистские глаза и научилась понимать это оценивающее выражение. В их взгляде сквозит то презрение всезнания, которое дает своим умных представителям только абсолютная власть. Эти глаза не просто раздевают, они снимают кожу. В них не человеческое любопытство, а привычные ухватки ботаника: что это за растение? Сколько у него лепестков? Класс... Семейство... И если это вредное растение, то способы его устранения будут выработаны спокойно и научно: ручное выпалывание, ДДТ, какие-нибудь пестициды. В данном случае растением была я.

Ботаники ушли в соседний кабинет изучать листовки – продукты жизнедеятельности растения. На меня они едва взглянули. Полчаса они изучали листовки и решили, что растение вредное и его изучением должен заняться именно их НИИ. Они вышли и очень вежливо предложили мне поехать с ними: "Мы здесь рядом, недалеко". Мне до сих пор кажется, что если бы я испугалась хотя бы в этот момент, они бы меня с собой не взяли. Но я жаждала этой дуэли, и я ее получила. Откуда мне было знать, каким оружием у них придется сражаться... Мы вышли к серой "Волге". Во Дворце уже никого не было.

По дороге единственной претензией моих ботаников было то, что я не дала им спокойно провести праздники дома. (У всех НИИ два выходных дня, а систематика растений может подождать.) Я, конечно, заявила, что именно этот праздник хотела им испортить, чтобы было неповадно праздновать такие вещи, как дни несуществующей, да еще сталинской, конституции. Холодные глаза стали хрустальными от любопытства (не



от гнева!) и увеличили, как микроскопы, разрешающую способность. И в "Волгу", и в двери Малой Лубянки я вошла сама, без всяких наручников, и не мои спутники старались пресечь мой побег, а я, по-моему, очень бы расстроилась, если бы они от меня убежали. Как сказал Мережковский о первых христианах: "Мухи летели на мед..." Малая Лубянка внутри похожа на провинциальный особнячок, в котором жил до Октября Киса Воробьянинов. Даже стулья похожи, только что без бриллиантов. Потолки низкие, кабинеты уютные, коридорчики узкие, всюду дорожки, и тепло. Полы натерты, а на стенах вместо портретов сановных предков висят фотографии отличников чекистского производства. Мне вежливо предложили сигарету; я, конечно, понесла что-то насчет испанского обычая "не пить, не есть и не курить с врагами". Оперативник обиделся. Ботаники же настроились на обычную волну при общении с очень юными жертвами: "Мы хотим Вам добра, мы хотим Вам помочь, помогите нам и Вы. Помогите Вам помочь". Я сбила эту волну, а дальше кончались разговоры и начиналась дуэль, то есть избивание младенцев. Здесь уже появляются двадцать проснувшихся гэбистов, которые, усадив меня на стул, сели и встали вокруг, словно за стол, на котором высится именной пирог.

Поскольку растение было редким, в них проснулся научный интерес, и они больше не пеняли мне на испорченные праздники. Где-то час с лишним я читала им лекцию о том, какие они дурные люди, какие злодеяния творят, как губят Россию (мое западничество всегда было романтическим порождением российской почвы и для российской почвы), и какая в стране начнется против них борьба, и как она завершится восстанием и революцией.

Этой речью я подписала себе ордер на арест (потом я узнала, что, если бы не мое поведение на Лубянке, дело бы передали в комсомольскую институтскую организацию). Меня ни о чем не спросили, со мной все было ясно. Записали анкетные данные, посадили в другую "Волгу" между двумя оперативниками (это и означает арест, иначе просто кто-нибудь садится рядом); на переднем сиденье – еще один оперативник и шофер, и мы поехали в Лефортово.



Я ничего тогда о нем не знала, думала, что на Лубянке по-прежнему есть "внутрянка". Лефортово показалось уютным и патриархальным: всюду ковровые дорожки, никаких звуков, бесшумная вежливая охрана, все какое-то ирреальное и бесплотное. Не охрана, а призраки. Не тюрьма, а замок сказочных гномов. Потом я уже поняла, что дорожки здесь не для уюта, а для конспирации, чтобы создать эффект сурдокамеры или склепа.

Лефортово – это преддверие Ада, сумрачный луг, за которым только Стикс. В этом Лимбе действительно встречались мыслители и художники, от Солженицына до Льва Тимофеева, но Данте не предвидел, что они будут сидеть в разных камерах и не смогут беседовать и что их потом потащат дальше, кого в 5-й круг, кого в 6-й, а Лимб – это только зал ожидания. Лефортово – это просто раздевалка перед газовой камерой. Подходит вежливый эсэсовский персонал, объясняет, как сложить вещи, чтобы не перепутать, что сейчас можно будет помыться горячей водой, вон в том зале с тяжелой дверью... И показывают, куда сдавать золотые вещи, которые вернут после освобождения. И отрезают волосы "из гигиенических соображений", а потом сплетут из них абажур... В отдельном боксе просит раздеться женский тюремный персонал (мужчинам хуже: фельдшер – обычно женщина; если мужчина, для женщины при введут фельдшерицу, а для мужчины не станут искать мужчину-врача); просят раздеться вежливо, без грубости; душ вполне приличный, как в пионерском лагере, но я сразу поняла, что это конец, что отсюда не возвращаются, что это погребение заживо.

О достоинстве своих жертв в 1969 году гэбисты заботились мало: у меня отобрали все с железными застежками: пояс, сапоги. Я осталась босиком, в огромных мужских ботинках без шнурков, крючок сзади у платья тоже срезали. Меня это не оскорбило, если в этом была цель (я ведь ожидала, что будут босиком по снегу водить). А вот когда велели в коридоре руки взять назад, это оскорбило, я отказалась и никогда не подчинялась подобным приказам. Предложила надеть мне наручники,



если уж они так меня боятся. Хватило чувства юмора не надевать... Мой вид испугал моих следователей... Они устыдились, сапоги приказали вернуть, и, хотя я ничего у них не просила, заявив, что на войне, как на войне, они тут же позаботились, чтобы мне доставили из дома чулки, резинки, одеяния с пуговицами, разрешенные в тюрьме.

Я ожидала, что в Лефортове полно политзаключенных, что кроме политических там вообще никого нет. Кем еще будет заниматься КГБ? Я не знала, что мы, политические, не составляем ежедневное меню охраны, но только лакомство на десерт. А повседневная пища, завтраки, обеды и ужины – валютчики, крупные взяточники, расхитители. В то время Лефортово со мной делили те самые Оля Иоффе, Вячеслав Бахмин и Ира Капун, так и не расклеившие из-за Юлия Кима свои листовки.

Оля давно на Западе, Ира в 1980 году погибла в автокатастрофе, а Вячеслав Бахмин служит в каком-то департаменте при МИДе, и мне не приходилось слышать, чтобы он за кого-нибудь заступился, кому-нибудь помог или хоть слово молвил против властей предрержащих.

Если бы Юлий Ким их не отговорил, их бы не выпустили из Лефортова без суда через 10 месяцев, их постигла бы страшная участь Оли Иоффе, которая ушла не домой, а в Казанскую СПБ – за строптивость, но, если бы повезло, могли бы и в лагерь попасть (все-таки трое, группа).

У группы были все шансы неполным составом, но все-таки самого худшего избежать... Это была группа МГУ. Если бы не отказ от деятельности и не арест уже после этого (а такой арест ломал, он был не желанным итогом, а катастрофой), может быть, Слава Бахмин не пошел бы в МИД служить небольшевикам? Хотя как знать... Сергей Ковалев сидел много и хоро-



шо и много сделал до ареста, а ведь служит в ВС верой и правдой.

У университетской группы была девочка-руководитель, ее не нашли, не взяли, она терзалась, но на допросах (а допрашивали чуть ли не весь курс, всех друзей) не призналась, вину на себя не взяла, в тюрьму не села, но и дело не продолжила. В диссидентской среде это считалось нормальным (мне потом пришлось это обсуждать с Ирой Каплун), для меня это была измена. Мое расхождение с диссидентами началось задолго до встречи, заочно.

Где-то близко к этому времени в Лефортове был и Петя Старчик.

В камере меня ожидал сюрприз. Я вошла (за мной конвоир тащил мой матрас с постелью), увидела двух женщин и спросила: "У вас, конечно, 70-я статья, товарищи? Листовки, нелегальная литература или рабочие кружки?" Они так рты и раскрыли. Одна была Тамара Иванова из комиссионного магазина на Арбате (сел весь магазин за валютные сделки с иностранцами), другая считалась крупной спекулянткой (Зоя приехала из лагеря к кому-то на следствие). Меня они приняли за валютную проститутку, сбывавшую что-то иностранцам.

То же оказалось и всюду в соседних камерах. В маленьких камерах сидели по трое, по двое (по двое чаще). В одиночках по правилам держать узников запрещено, но я сидела и в одиночке. Лефортово сталинские политзэки называют тургостиницей (теперешнее Лефортово, потому что тогдашнее было самой страшной пыточной тюрьмой, куда посылали из Бутырок или с Лубянки самых несговорчивых; здесь же и расстреливали).



Атмосфера осталась: атмосфера безликой, холодной, неумолимой машины уничтожения. Абсолютная чистота в камерах, чистое белье, горячий душ каждые 10 дней, роскошная библиотека, на которую я набросилась с большим аппетитом, нагло получая образование там, где жизнь кончалась вообще. Белье меняли каждые 10 дней, и оно было лучше, чем в поездах. Унитаз с крышкой, полки, стол, табуретки, что еще надо? Света почти не было, толстенные стены прорезаны окнами под самым потолком, плюс двойные решетки.

Камера больше всего была похожа на монастырскую келью. Тогда зимой и осенью было холодно, топили хуже, чем сейчас. Холодно, но терпимо. В других местах потом было много холоднее. Питание, которое для сталинских зэков было бы роскошным, для меня оказалось совершенно непригодным. Организм, видимо, отказывался выживать и не хотел адаптироваться. И еще мне казалось, что есть это – унижительно. Утром давали скверную пшеничную кашу, немного сахара (норма прежнего ГУЛАГа), 600 граммов скверного черного хлеба. На обед – съедобный суп (два дня из четырех съедобный), сухую кашу. На ужин – сухую кашу. Но раз в четыре дня устраивали праздник – винегрет с отличной баночной селедкой. Эту селедку, съедобный суп и ложку каши с сахаром (без сахара ее в рот взять было нельзя) я и ела. Чувство голода было постоянным фоном, я слабела, но кротости у меня от этого не прибавлялось.

Питалась я ларьком и передачами. Интересно, что в сталинские времена зэку не препятствовали получить из дома все, что могли ему прислать. Можно было умереть, но Цезарь в солженицынской повести получал по две посылки в месяц, и никто калорий ему не считал. Сталинские времена – это времена беспредела, а всякий беспредел – лотерея: или пан, или пропал. Когда нас стало меньше, инквизиторская машина стала работать более прицельно, научно выверяя каждый лишний грамм, добиваясь истощения еще под следствием, но полностью исключая смерть. За "хорошее поведение" следователи разрешали лишнюю передачу и запрещенные жиры. Валютчики все вели себя хорошо, с кем я ни сидела, всех закладывали, писали с утра до вечера собственноручные показания. За что бедняг сажали, я до сих пор не поняла, жалко их было страшно,



рыдали они в три ручья, как белуги, и все вспоминали свои люстры, ванны и шубы. Но сидеть с ними противно и скучно.

Подсаживали ко мне и "наседок", но они очень грубо работают, а потом я была начитана насчет таких вещей (опыт эсеров и эсдеков). На ларек разрешалось тратить 10 рублей в месяц в два приема. На две недели – полкило колбасы, полкило сыра, белый батон, 200 граммов масла, ручки, тетради, сигареты. Политзэку полезно не курить, большая экономия. 400 граммов масла уже купить нельзя – лишние калории. А в передаче на 5 кг в месяц тогда разрешалось получить 1 кг колбасы, 0,5 кг сыра, 1 кг сахара, 1,5 кг печенья и сухарей (печенья только 0,5 кг!) и 1 кг овощей (лук) и фруктов (яблоки). И ассортимент, и количество были железно определены, никакой отсебятины вроде свежих овощей, сала, масла. Не умрешь, цинги не будет, но здоровье потеряешь. Язва желудка у меня последовала еще под следствием, в первые шесть месяцев. Зрение при скудном свете поубавилось еще на пару диоптрий. Ожидаемых пыток не было, но чувствовалось, что какие-то рычаги заперты. Человек, бросившийся в Лефортово, похож на Анну Каренину, бросившуюся под паровоз: что-то мягко взяло за спину и неумолимо куда-то потащило... Мои следователи должны были работать в паре, под "доброе" и "злое". "Злым" был майор Евсюков, начавший карьеру еще в 1938 году. Он был прост и ясен, как слеза. Честно говорил: "Всех бы вас, антисоветчиков, на лопату да в печь". "Доброе" хотел бы сыграть Алексей Иванович Бардин, образованный, просвещенный палач с двумя дипломами.

Следствие доставляло большое удовольствие мне и очень раздражало моих ботаников. Я хотела играть по своим правилам и все время возвращала их в старые добрые сталинские времена, куда очень хотел вернуться майор Евсюков и совсем не хотел возвращаться Алексей Иванович.

Евсюков откровенно размахивал руками перед моим лицом и цедил: "Двадцать пять лет назад мы бы с вами не так разговаривали". Наши уставы, программы, мои воззвания и



стихи (особенно впечатлял опус под названием "У развалин Лубянки") лежали в деле, я их не стала прятать, их сразу взяли на обыске. Но под всю эту роскошь не было людей! Я твердила, что есть грозная организация, которая готова перейти к терактам, но не называла никого, что вызывало сильное непонимание.

Обычно наличие организации или отрицается, или признается (но с фамилиями членов). А здесь человек признается, что он член очень страшной для строя организации, и не называет никого! Похоже на издевательство. Искали они усердно, облазили весь Физтех, весь ИНЯЗ (про нашу дружбу с Сережей в ИНЯЗе знали, мы ведь на нашем институтском вечере и познакомились), ходили даже в школу (хорошо, что я не посещала детсад, а то и туда бы пошли). Добыча была жалкой. Никто ничего конкретного не знал, а кто знал, тот замер, слава Богу.

Один Сережа зачем-то признался, что нес листовки и знал об акции (хватило ума не сказать, что он имел отношение и к "Тайному обществу троечников"). Я это не подтвердила, но мое молчание ему не помогло: исключили из комсомола и института. Это означало возвращение в Таганрог и призыв в армию. Мне было очень жаль Сережу, который так бездарно загубил свою жизнь, ничего не сделав. Конечно, это была моя вина, но у революционеров толстая шкура, они не умеют долго жалеть мирных обывателей, они жалеют равных, своих. Я сделала все, что могла, чтобы выгородить Сережу, вольно же ему было на себя доносить, причем не из солидарности, а из слабости.

Как положено, через 10 дней я получила свое обвинение по 70-й статье; для 19 лет – немалое достижение, если учесть, что ответственность по этой статье наступает с 18 лет. Предъявил мне его мой ботаник Бардин без всякой помпы поздно вечером не в следовательском корпусе, а в боксике. Первый этаж – вотчина московского ГБ. Верхние этажи – владения КГБ Союза, но тогда я этого не знала. Бедный полковник Петренко, тогдашний комендант Бастилии! Он со мной запла-



кался, потому что мое поведение соответствовало всем лучшим стандартам XIX века ("Революционер в тюрьме").

Я помнила все правила поведения политзэков дооктябрьского периода и старалась перещеголять Веру Фигнер и Софью Перовскую. Я была обязана продолжать борьбу и в тюрьме! Задним числом сочувствую моим тюремщикам и моим следователям. Все-таки божьи твари... Допросы я превращала в "последнее слово Павла Власова на суде", угощая бедных гэбистов филиппиками об ответственности перед потомством и их злодеяниях с 1917 по 1969 год.

Речи перемежались рафинированными оскорблениями и издевкой. Например, майору Евсюкову я исправляла ошибки в протоколе и ставила отметку. Допросы длились по 6-7 часов, потому что следователи записывали не то, что я говорила. Они старались хоть кого-то скомпрометировать, а я всех выгораживала, как могла. Получалось, что вокруг меня были одни советские обыватели и никто ничего не знал. Откуда тогда тайное общество? Следователи не могли свести концы с концами; выход из этого был один, но я тогда не знала какой.

В конце концов в протоколе писали слово в слово мой текст, и мы расставались до утра. Я могла спросить у Бардина, будет ли у чекистов елка, и посоветовать подарить Евсюкову грамматику русского языка. Бардин читал мне письмо группы зрителей, бывших на опере "Октябрь" и просивших для меня смертной казни, и спрашивал, не удовлетворить ли их просьбу. Я с энтузиазмом говорила, что буду очень рада. Бардин отечески пенял мне на мой глупый поступок.

Бардин: Ну вот, Валерия Ильинична, могли бы учиться в престижном вузе, а вместо этого в лагерь поедете...

Я: А у вас восстания в лагерях были?



Бардин: Мы об этом даже и не слышали.

Я: Когда я до лагеря доеду, услышите!

Они поняли, что лагеря я не боюсь, что не боюсь и смерти. В камере я нарушала все правила: не вставала, когда входила охрана, офицеры, начальство (кодекс политзаключенных!). Перестукивалась по "сетке" (тюремный код), пока не поняла, что "своих" не найду. На прогулке (каждая камера гуляет отдельно в своем дворике) бросала записки с весьма антисоветским текстом в другие дворики. Я даже умудрялась своим противным голосом петь на прогулках революционные песни. Мои соседки были в восторге, хотя подражать мне не смели.

1 марта я отметила распространением листовок. Наверное, первый и последний случай в истории Лефортовской тюрьмы. На листочках бумаги, выдаваемой для туалета, я написала текст (штук 40 листовок) с напоминанием о покушении первомартовцев. Далее понятно: Александр II ответил за зло царизма, КГБ ответит за зло коммунизма, народовольцы найдутся, а потом грянет революция, вас будут в Нюрнберге судить... После завтрака 1 марта я поставила на койку табуретку, валютчицы меня поддерживали, и я высыпала всю партию листовок в форточку. И надо же было так случиться, что под нашим окном был вход в следственный корпус и следователи шли большой группой допрашивать своих клиентов! Представляете их впечатление? В родной тюрьме КГБ на голову сыплются антисоветские листовки! Через 10 минут прибежали Петренко и два его зама. Петренко был белый и сказал: "Собирайтесь в карцер". Я сказала, что мне плевать, хоть на расстрел, и что я тут же объявлю голодовку (меня и так ветром шатало, и они это знали). В карцер меня не посадили, но этот инцидент был последней каплей. Моя участь была решена. Я наивно предполагала, что здесь идет честная игра, что я могу сказать "нет", стоять на ушах и расплачусь за это только жизнью и физическими мучениями.



Но в этой лавочке еще и обвешивали. В 30-40-е, ранние 50-е годы я бы получила то, что хотела! НКВД играл честно: брал жизнь, но оставлял взамен честь. Игра была на уровне чемпионов, но тот, кто мог вынести все пытки, выигрывал и получал свою пулю, как олимпийское золото. Но кончались 60-е годы, и было изобретено Абсолютное оружие, против которого были бессильны и мужество, и решимость, и вера.



АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ



Есть у Роберта Шекли рассказ "Абсолютное оружие". Действие происходит на Марсе. Два друга набредают на древний склад вымерших марсиан и начинают пробовать всякое оружие, надеясь продать его на Земле и разбогатеть. На одном ящике написано: "Абсолютное оружие". Они открывают ящик. Появляется огромная пасть. Один из них просто падает в обморок. Пасть глотает его и говорит: "Мне нравится пассивная протоплазма". Другой начинает защищаться: огнеметами, гранато-метами, пушками, атомными ракетами. На пасть все это абсолютно не действует. Она глотает человека вместе со стингером) и говорит: "Активная протоплазма мне тоже нравится".

И все. Марс обречен. Земля обречена. Жизнь во Вселенной обречена. Психиатрический террор – тоже абсолютная победа Зла. Если ты уступаешь – тебя сломали. Личности нет. Если ты противишься – твою личность разрушают химически или механически (электричество, скажем). И победы нет, потому что личности не осталось: победу можно праздновать, когда есть КОМУ праздновать. А здесь не будет достойной смерти, но будет слюнявый идиот под твоей фамилией. На карательной медицине кончается всякая борьба, и всякое достоинство умалется, растаптывается навеки, будь ты хоть Ян Гус, хоть Муций Сцевола. Кроме чисто морального триумфа, КГБ здесь преследовал две практические цели:

I. Сохранялась монолитность советского народа, бодро воруящего в своих вождях и свои идеалы. Наличие "врагов" сильно подорвало бы эту концепцию (через 15 лет после исправления извращений "культы" – опять враги!). А за больных правительство не отвечает. На Западе тоже психов достаточно.



II. Дискредитация альтернативных идей общественно-го развития и оппозиции в глазах простого народа. Даже читая школьные учебники, народ мог узнать, что "врагами народа" у нас часто именовали зря. С врагом надо еще разбираться, враг он или друг. А врачам простой народ верит. Если врачи сказали, что антисоветчик – псих, то что здесь судить да рядить о его идеях? Бред сумасшедшего не анализируют. Со времен Чаадаева этот метод действует безотказно.

Правда, КГБ лишался здесь публичного покаяния по телевизору (не потащишь же каяться психа, он ведь за свои слова не отвечает) и не мог больше вырывать показания на следствии: зачем показания неменяемого, их все равно использовать нельзя, – но ведь клиентов, способных и готовых покаяться или расколотся, и не подвергали психиатрической казни; они были нужны и на следствии, и на процессе. При твердом поведении шансы уцелеть и пройти мимо карательной медицины, благополучно получить 7 лет лагерей и 5 лет ссылки (или 10 лет по второму разу, или 15 лет, или расстрел по статье 64) могли рассчитывать:

1. Хорошо известные Западу диссиденты типа Юрия Орлова или Владимира Буковского.

2. Врачи-психиатры типа Корягина или Глузмана.

3. Те, у кого было групповое дело (не все члены группы, но многие из них). Ведь не скажешь, что у семи человек возникло коллективное помешательство! Поэтому из семерки, вышедшей в августе 1968 года на Красную площадь, психиатрической пытке подвергся только Виктор Файнберг (и только через год – Наталья Горбаневская).



4. Те, кого власти хотели скомпрометировать иначе (агент ЦРУ, изверг: устроил взрыв в метро, самолет угнал).

Абсолютно обречены были бывшие высокопоставленные военные или партийные деятели (генерал П.Г.Григоренко) и одиночки, исповедовавшие идеи свержения власти и изменения строя.

То есть у меня шансов не было. Но я не знала, я ничего не знала! И хорошо, что не знала. Если бы я знала о карательной медицине, у меня не хватило бы решимости сделать то, что я сделала, без ампулы с ядом в кармане (а ее я не смогла бы достать). Однако когда меня в один ненастный день без церемоний, предупреждений и объяснений привезли в институт Сербского, я даже не столько испугалась, сколько оскорбилась. И это была правильная реакция. Пока я жива, я буду настаивать не только на том, чтобы упразднить КГБ, но и на закрытии Института судебной медицины им.Сербского, почитая второе заведение не менее вредным и исторически преступным, чем первое. Общество может устранить преступника физически, если ему угодно стать на уровень неандертальца и мстить, или изолировать его от себя временно или навеки, если он причинил ему зло, но никакое общество не вправе покушаться на личность преступника и решать вопрос о ее изменении в нужном обществе направлении. Или тем паче судить о том, что есть норма и что есть патология. Лечить личность – это гораздо более жестоко, чем уничтожить ее вместе с тем телом, в которое она заключена. Конечно, если человек кусается или не может членораздельно говорить, он сумасшедший, но это видно и без экспертизы.

Однако маньяки и террористы вполне могут отвечать за свои действия вне медицинских категорий. Инквизиторы посылали душевнобольных на костер за галлюцинации? Ну что ж, они действовали гуманнее психиатров, потому что смерть наступала скорее, и мучения жертвы были конечны. Права либертарианская партия, выступающая за отмену государственной психиатрии как института.



Меня заперли в отдельную камеру, и общение с институтом началось. Я думаю, что в моей нормальности они убедились в первый же день. Уже через много лет я узнала, что в течение месяца гэбисты не могли найти врачей, желающих подписать вместе с Лунцем диагноз "вялотекущая шизофрения". Мне показалось, что некоторые молодые научные сотрудники искренне считали, что спасают жертвы КГБ от лагерей (ничего не зная о ситуации в спецтюрьмах) и дают им возможность потом учиться и жить в столицах. О свободе научного подхода хотя бы на уровне реальности (здорового признать здоровым) не могло быть и речи. Александр Цопов, бывший сотрудник КГБ (не политического спектра!), рассказал мне, что у него психиатры просто спрашивали: "Как тебе признавать? Вменяемым или нет?" В моем случае тем более самотека не могло быть. И самодеятельности тоже! Вообще все тесты и исследования, входящие в экспертизу, могут в лучшем случае определить уровень интеллекта или уживчивости в обществе, но никак не наличие или отсутствие душевного заболевания. Судебная психиатрия, по моему глубокому убеждению, является шарлатанством даже там, где она не является преступлением.

Я не знала, что нормального человека могут признать невменяемым, и доказывала свою нормальность, как теорему, добавляя в диагноз пункты: "реформаторский бред", "философская интоксикация", "плохая социальная адаптация". Здесь я и познакомилась со знаменитым Лунцем. Даниил Романович был холеным, вальяжным барином с отличной филологической подготовкой. Я успела за одну беседу об экзистенциализме сделать его своим личным врагом, заявив, что он инквизитор, садист и коллаборационист, сотрудничающий с гестапо – с КГБ. Оля Иоффе знала о перспективах такого поведения столь же мало, как и я. Она на все "наводящие вопросы" отвечала: "Я буду продолжать борьбу" – и заработала себе диагноз. Ира Каплун знала, наверное, больше нашего. Она уклончиво отвечала: "Подумаю, еще не решила..." – и была признана вменяемой.

Они со Славой из Лефортова ушли домой, а Оля расплатилась за всех, загремев в Казань, где ее пытали (к счастью,



это длилось недолго, всего два месяца; после закрытия их общего дела ее отправили в Москву). На моей комиссии присутствовал мой следователь, майор Евсюков (Бардину, как более грамотному, было, наверное, стыдно), смотревший на меня (я была в халате, рубашке и шлепанцах на босу ногу) весьма злобно. Лунц задал мне всего один вопрос, предлагая в последний раз соломинку (может быть, и ему стало жалко, и на палачей находит!): "Не сожалеете ли вы о том, что сделали?" Я, конечно, заявила, что "от содеянного мною не отрекусь!" – и клеймила КГБ и институт Сербского презрением и позором, пообещав все тот же Нюрнберг. Лунцу оставалось только махнуть на меня рукой. Когда на следующий день за мной приехали из Лефортова и мне вернули мои вещи, я обрадовалась больше, чем если бы меня отпустили домой. Я была уверена, что возвращение в тюрьму означает вменяемость и благополучный исход дела (срок или расстрел).



КОМНАТА 101



Если вы читаете все эти страсти как сказки о подвигах Геракла, считая, что это "преданья старины глубокой", то вы очень ошибаетесь. Это касается не пращуров, а нас. Это произошло только что, под гром августовских салютов, на наших глазах. С Александром Шмоновым, не попавшим в Горбачева (если бы он попал, с ним поступили бы милосерднее: просто расстреляли бы).

Сейчас, когда я заставляю себя это вспоминать, в Санкт-Петербургской СПБ истязают совершенно здорового человека, который был готов пойти на любую кару (но только после честного открытого суда), на любую каторгу, к любой стенке. А происходит это так. Признанного невменяемым политзаключенного привозят обратно в тюрьму и забывают там. In расе. У меня это длилось два месяца. Ни допросов, ни объяснений. Полная неизвестность, одиночка, мертвая тишина. Иногда невозможно определить, жив ты или уже умер. Садистская пытка неизвестностью. Адвокат имеет право не приходить даже после окончания следствия (оно окончится без вас – вас уже нет, вы уже не человек). Здесь нужен был бы адвокат типа Дины Каминской или Софьи Каллистратовой.

Но мой жалкий адвокат не посмел ко мне прийти (зачем злить КГБ нарушением традиций?), не опроверг экспертизу, а требовал только изменить статью ("Дать меньше по 190-й, чем то, что, конечно, дадут"). Отсюда недалеко и до сталинских адвокатов, требовавших смерти для подзащитного. Я хотела заплатить жизнью за открытый суд... А здесь превзошли сталинские времена: тогда судила тройка без защитника, а теперь и без подсудимого обходились. Тет-а-тет. Ничего лишнего: судья, заседатели, "защитник". 70-я статья обеспечивала СПБ – психиатрическую тюрьму. ПБ могли дать только по 190-й! Но это было не лучше.



Из Москвы посылали в самую пыточную ПБ – на Столбовую, а изоляция там была нешуточная. К счастью, там мне быть не пришлось. Москвичи однозначно попадали в Казанскую СПБ, потом, как Владимир Гершуни, в Орловскую. О своей страшной участи политзаключенный узнавал после суда на свидании с родственниками, если они у него были. Это и была комната 101 (самое страшное, что есть на свете): пожизненное пребывание в камере пыток с потерей рассудка и человеческого образа, то есть "принудительное лечение" от инакомыслия. Лечение состояло в том, что способность мыслить устранилась вообще. На свидании я узнала много нового и интересного.

Я никогда не пойму, зачем Оле Федичкиной с моего курса понадобилось лезть в первые ряды и давать показания о распространении мной Самиздата, да еще лгать, что я его ей навязывала чуть ли не силой? Кто ее за язык тянул? Другие же молчали, и ничего им не сделали. Владлен Сироткин, балующийся сегодня исторически-либеральными статьями в газетах (отчаянный прогрессист!), дал на меня как раз такие показания, которые были нужны для помещения в СПБ, и опять лживые. У нас он преподавал историю Франции, заигрывал со студентами, прикидывался нонконформистом. Этот режим никогда не откроет имена стукачей, а то народу не из кого будет выбирать органы власти. Но я вношу свою скромную лепту и своих двух личных стукачей называю.

В этом плане никакой пощады не должно быть никому! Лживые показания двух моих стукачей я уже не смогла опровергнуть, хоть и пыталась: невменяемый не имеет права голоса. И вот, когда я все узнала, меня вызвал Алексей Иванович Бардин и предложил бартер (объяснив, что меня ожидает): я ему – фамилии членов организации, он мне – лагерь. Я попыталась схитрить (сначала стулья, потом – деньги, то есть добиться отмены диагноза даром, обещая раскаться "потом"), но он меня сразу раскусил, убедившись, что даже Сережу из Физтеха я продолжаю выгораживать. Здесь плату требовали вперед. Бартер не состоялся. Я спросила, неужели им мало расстрела. Ведь тогда я уже не встану у них на пути.



Зачем же такие изощренные мучения? И Бардин ответил: "Ну что вы! Зачем расстрел? А в чем же тогда будет наказание?" В отличие от Евсюкова, он наверняка еще жив, и у него внуки. Единственная месть, которую я признаю допустимой, – это огласка и каинова печать на чело, чтобы отвернулись дети, внуки и соседи. Кстати, палачи выдавали себя с головой, держа "невменяемого" в тюрьме в одной камере с нормальным заключенным (реальный сумасшедший мог бы придушить и покусать). Выход из этого кошмара был один: умереть. Но как умереть в Лефортове? В пролет не бросишься – все затянуто сетками из стали. Вены перерезать нечем. Повеситься невозможно – каждые 3-5 минут часовой-надзиратель заглядывает в глазок (это там и сейчас продолжается: постоянный мужской взгляд, ни помыться, ни туалетом воспользоваться без него невозможно. Оставалось одно: не считать надзирателей за людей).

Попытка задушить себя под одеялом нейлоновым чулком не удалась: у меня не хватало физических сил затянуть узел до смертельной нормы. К тому же голову прятать под одеяло запрещалось. Мои попытки негласной голодовки (успеть умереть, пока не хватятся) обнаруживались на 4-5-й день. Смерть в Лефортове была недостижимым благом, изысканным дефицитом, сказочным сном. Она могла только присниться. Впрочем, написанный мной в это время "Реквием" все куда лучше объясняет.

РЕКВИЕМ

Узникам психиатрических

тюрем посвящается

Свидетели и судьи,

Ухмылки и гримасы...

Наверно, это люди,



А может, только массы.
Что вам светило прежде
На этом небе черном?
Наверное, надежда,
А может, обреченность.
Теперь в железном склепе
Вождь без знамен и войска.
Наверное, нелепость,
А может быть, геройство.
Что там, в небесной сини,
Над ранкою рассвета?
Наверное, Россия,
А не Союз Советов.
Кто смеет лишь подумать,
Да так, чтоб не узналось?
Наверно, это юность,
Умеренней, чем старость.
За чаем в печеньем
Яд отрицанья сладок...
Наверно, возрожденье,
А может быть, упадок.
Безвременье затихло.
Кричать в его бесплодность –



Наверно, это выход,
А может, безысходность.
Сойти живым в могилу,
Исчезнуть в липкой гнили,
Наверно, это сала,
А может быть, бессилье.
Тебя за бастионом
Увидит мрак кромешный,
Наверно, умудренным,
А может, отупевшим.
Последний отблеск бреда,
Последнее движенье...
Наверное, победа,
А может, поражение.
1970г., Лефортово.

Теперь я знала все. Но что мне было делать с этим
знанием? У меня не было надежды ни на жизнь, ни на смерть.



«НАШ ПОЕЗД ОТХОДИТ В ОСВЕНЦИМ»



В этапе до перманентной газовой камеры есть своя прелесть – последняя, оставшаяся тебе до прибытия в пункт конечного назначения, где "времени больше не будет". Нормальный столыпинский вагон (70-я статья обеспечивает отдельное "купе" с голыми полками, без окна, но через решетчатую дверь видно окно в коридоре, и можно в последний раз посмотреть на реки, леса, поля, "вольных" людей). 70-я статья дает еще одну привилегию: лефортовский сухой паек – это не сеledка, а огромный кус холодного вареного мяса.

Политические "котируются": вор в законе, выяснив, за что я сижу, немедленно передал по вагону приказ: не ругаться матом, не сквернословить, не ерничать, не отпускать скоромные шутки, пока я не "сойду", иначе он потом будет "разбираться". Мелкие уголовники (бытовики) вели себя, как в Английском клубе, а вор рассказал, как он три года назад схватил 5 лет по политической статье (плюс 6 за грабеж). Взяли они сберкассу в провинции и приехали в Москву покутить.

После ресторана, сильно навеселе, стал наш вор кричать в троллейбусе: "Надо кидать коммунистов в Байкал!" Дали ему 15 суток за хулиганство. А когда срок кончился, у ворот его уже ждали... Привезли на Лубянку и спрашивают: "Ну почему в Байкал? Почему не в Волгу – она же ближе?" А он возьми и ответь: "А я слышал по радио, что Байкал – самое глубокое озеро в мире". Прибавили 70-ю.

Конвой очень учтив: не избивает, не насилует, просто вежливо приглашает на чай в свое купе ("у нас там постель, белье, удобно"). Может быть, они и не имели в виду ничего дурного (я же не Софи Лорен), а просто хотели поговорить о политике



и дать мне хоть сутки поспать в человеческих условиях, но проверять было неохота. Конвой, овчарки (я с тех пор их видеть не могу), решетки обнадеживали: в таких условиях больных никто не возит – автоматов многовато – государство не считает тебя больной, оно тебя просто карает. Просто такая пытка. Просто такая казнь.

Этап до Казани на скором поезде длится сутки с небольшим, без остановок в этапных тюрьмах других городов. Идет июль. 17 мая мне исполнилось 20 лет. В одиночке Лефортовской тюрьмы. Вот когда поймешь "Штрафные батальоны" Высоцкого. Когда останутся одни сутки до конца. "Всего лишь час дают на артобстрел..." Но ни ордена, ни "вышки" не будет. Нет у Высоцкого такого варианта: комната 101. Я надеялась, что, когда меня будут выводить в туалет, я сумею открыть дверь в тамбур и выпрыгнуть на полном ходу. Или сразу попасть под колеса, или разбиться (если повезет).

Если не повезет, успеть добраться до реки и утопиться. Или броситься под машину. Бежать мне даже не приходило в голову. На этом диагнозе кончается жизнь – это было ясно. Выбраться из поезда – самое главное. А дальше успеешь умереть, пока не настигли. Но двери были заперты. Все предусматривалось. Надеяться было больше не на что. Поезд доехал до Казани.



ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО



У каждой СПБ – спецпсихбольницы или спецтюрьмы – была своя специализация. В Днепропетровске пытали нейрорептиками (Леонида Плюща замучили до полусмерти; когда его выслали в Париж, то из самолета мученика вынесли на носилках; и французских коммунистов это проняло: "Юманите" напечатала заметочку, что даже с врагами социализма так жестоко обращаться нельзя!). В СПБ под Калининградом, где был заключен Петр Григорьевич Григоренко, было то же самое. В Казани применяли и физические пытки, однако нейрорептиками не пренебрегали. Самый сносный вариант был в Ленинградской СПБ: и Буковский, и Володя Борисов, и Виктор Файнберг вышли оттуда живыми и невредимыми; Витя даже сагитировал своего врача, женился на ней и увез во Францию. С одной стороны, Казань – это здоровый тюремный элемент. Это даже не зона. Это "крытка", последний градус наказания – тюрьма. Овчарки, заборы с колючкой, вышки, охрана. Бытовики-уголовники из хозобслуги, они тоже твое начальство. В "палатах" кровати, но на окнах решетки, и эти "палаты" заперты, а в дверях – глазок. Двери открываются на умывание, на оправку, для того что бы раздать еду, перед работой и прогулкой. Работа несложная, 3-4 часа в день: переплетная мастерская, швейная, стегание одеял, шитье медицинских перчаток. Кормят тоже лучше, чем в тюрьме: утром дают кусок масла, два раза в неделю – немного творогу, к обеду в супе будет плавать маленький кусочек (граммов 30-40) очень жирной свинины.

Все остальное, кроме сахара и утреннего серого хлеба, – несъедобно. Есть и развлечения: три раза в месяц – кино (это как в зоне). Фильмы, которое я смотрела там, потом вызывали неизменное чувство ужаса, даже если это были комедии. Посылки можно получать любые, свидание – раз в два месяца на час в присутствии охраны и медицинского персонала, через стол. При этом можно передать любые продукты в любом количестве. Для уголовников – рай, для политзаключенных – геенна огненная. Есть, кроме обычных тюремных стандартов, еще



кое-что "кроме". Военные медсестры. Военные врачи. Других нет. У них одна задача – заставить тебя полюбить Большого Брата. Есть "контингент" – патологические убийцы, маньяки. Обычные уголовники сюда не попадают, разве что "закосят" со взяткой в придачу (СПБ вместо "вышки" – для убийцы просто находка). В моей камере сидели пятеро. Галя убила топором мужа, Вера отравила золотку, Оксана застрелила из ружья мужа и шестилетнего сына. Одна милая особа за стеной посадила в ванну двух своих маленьких детей и пустила ток... У меня еще отличная камера, а у Наташи Горбаневской соседней – 11 человек.

Верхний коридор – рабочий. Здесь членораздельно разговаривают, здесь тупые, примитивные люди, но эти звери все-таки ходят на двух ногах. Они, как в "Острове доктора Моро", чтут Закон и делают вид что живут, как люди. А в нижнем коридоре в собственных нечистотах лежат и заживо разлагаются полутрупы, утратившие человеческий облик, окончательно потерявшие рассудок. И ты знаешь, что за малейшую провинность ты попадешь к ним, сюда. Одежда вполне тюремная, свое платье здесь отбирают. Унизительно ходить в каторжном халате, в тюремном платье, в уродливых башмаках. И здесь нет срока: три года, тридцать лет – это как захочется КГБ. Не сломав, не уничтожив личность, не выпустят.

Какие же политзаключенные сидят в СПБ? Приедет и сразу уедет Оля Иоффе, но ее успеют поистязать аминазином. Мы с ней не увидимся, разве что из-за забора – другое отделение. (Общая прогулка в общем дворе весной и летом длится 2-3 часа, но умалишенные гуляют тут же, и в бане с ними моешься.) Нина Ж. пробудет в Казани год. Она из Грузинского Хельсинкского Союза, из Сухуми, хотя сама русская. У нее отняли семилетнего сына, оторвали и увели в спецприемник. Потом его забрала сестра. Инквизиторам она говорит, что будет впредь думать только о сыне, и они ей верят, это правдоподобно.

Она филолог, русист. Преподавала в университете. Замкнута, осторожна (здесь нельзя верить никому), очень исто-



щена. Она уже была в Казани в начале 50-х годов. Тогда здесь просто гуляли, не было никаких пыток, спасались от сталинских лагерей. Шурочка Лакшина со своим другом подожгли дымовые шашки на трибуне 7 ноября у себя в Сыктывкаре. Оба учились в Питере. Шашки погасили, акция протеста на этом кончилась, и началась расплата. По газете с номером квартиры и дома, в которую завернули шашки, их нашли. Мальчик попал в Ленинградскую СПБ и выжил, а Шурочку в Казани уничтожили инсулиновым шоком. Довея до слабоумия, выпустили.

Это случилось за полгода до меня. Инсулин ей назначил сам Лунц. Я не знаю, сколько процентов психиатров приняли участие в этих гитлеровских штучках, но даже если это 50 процентов, все равно они подлежат лишению диплома. После этого им людей доверять нельзя. У Лизы Морохиной стаж борьбы был еще больше. Ее отец был расстрелян в 1937 году. Еще в 16 лет она подожгла сельсовет. Попала на три года в лагерь, окончила школу. Стала распространять антикоммунистические листовки. В Казани ее пытали электрошоком, снизили интеллект, лишили возможности учиться. Сохраняется душа, но гаснет ум.

Это самое страшное. Ее продержали два года и выпустили. Родиной Лизы был тот же Сыктывкар. Политзэки из провинции, неизвестные Западу и Москве, за которых некому было заступиться, подвергались самым страшным пыткам и были обречены на стирание личности. Сейчас, когда я пишу эти строки, в глухих углах страны в ПБ и СПБ досиживают свои двадцатилетние сроки несчастные узники, давно сведенные с ума, вроде Игоря Антипова. За одну забастовку или демонстрацию в Благовещенской СПБ сидели по 20 лет. Здесь в Казани есть памятник произволу "застоя" и равнодушию перестройки – учительница Ольга Н. Она еще помнит кое-что из французского языка. Сидит она с 1962 года. У нее чистенькое платьице, но ее сослали в нижний страшный коридор.

Она наполовину лишилась рассудка, поет длинные баллады о "палачах в белых халатах", всюду ищет агентов



НКВД. И сюда привезут маленькую худенькую Наталью Горбаневскую, которой Анна Ахматова оставила лиру. "Воробышек" – называли ее друзья. В ней 1 м 50 см, а килограммов и вовсе нет. Ей было 34 года, мне – 20 лет. Ее стихи казались мне гениальными (и сейчас кажутся). На воле остались двое ее детей, Осик (грудной) и Ясик (9 лет). Она тоже будет обещать впредь заботиться только о детях, но ей не поверят и начнут пытаться галоперидолом. Наташа много рассказывала мне о диссидентах, и я сначала была в восторге, но потом услышала ее мнение о моих листовках: "Это глупость. Незачем обращаться к народу. Он не поймет, а власти расsvирепеют и начнут репрессии. Пострадают и все диссиденты". Становилось ясно, что товарищей по борьбе мне не найти и в среде Наташиных друзей.

Слава Богу, за Наташу было кому заступиться. Через 4 месяца ее увезли обратно в Москву: скандал по поводу ее участи был хороший, громкий, международный. Хотя бы одного поэта спасли, против всех российских обычаев. Наташа вскоре уехала, но ее я не виню. Сидевший в СПб неподсуден. После этого ужаса и позора человек не может оставаться в подвергнувшей его такому стране. Он имеет право уехать туда, где его хотя бы не будут считать сумасшедшим. Были в Казани и чистенькие старушки-баптистки. Они проповедовали Слово Божье по деревням. В СПб они сидели пожизненно, но не роптали. Уж не знаю, о каком способе мгновенной смерти пишет Буковский, но я его не знала, и никто даже впоследствии мне не смог его назвать. Мне ни разу не посчастливилось найти на прогулке кусок стекла. Покончить с собой в Казани так же невозможно, как и в Лефортове. О свободе в Казани не мечтают: будущего нет. В него перестаешь верить через 3-4 месяца. Перестаешь даже надеяться и мечтать. Ничего нет и не будет, кроме этого острова, этой Преисподней. Как там у Булгакова? "И обвиснешь на цепях, и ноги погрузишь в костер... И так будет всегда... Слово "всегда" понимаешь ли?" Мечтаешь попасть в Лефортово хотя бы на месяц, вдруг КГБ понадобится опять тщетно задать какой-нибудь вопрос. Но это тоже несбыточно: я одиночка, группы нет, невменяемого даже гипотетически не могут привлечь как свидетеля. И зачем возить взад-вперед того, кто не дает никаких показаний?



Весь год, ложась спать, я мечтала об одном: чтобы утром не проснуться (инфаркт, инсульт, тромб). Человек, который после этой вечерней молитвы целый год неизменно просыпался в казанской камере, не должен, не может дальше жить. Это нехорошо и для него, и для человечества.

Какими же средствами располагают современные о'брайены? Да теми же, что были у оруэлловского, плюс химические препараты, уничтожающие личность, чего, согласитесь, у О'Брайена не было. Итак, казанский арсенал "средств устрашения".

I. То, что было в у О'Брайена (по нарастающей)

1. Избиение (уголовников охрана может забить сапогами до смерти, я такие случаи помню; политических – нет, их надо сломать, но представить живыми).

2. Привязывание жесткое (до онемения конечностей, до пролежней; в особенных случаях привязывают так, чтобы веревки впивались в тело до крови. В таком состоянии могут продержаться неделю).

3. Сульфазин, или "сера" (везде был запрещен, кроме СССР). Одна инъекция, или сразу две – в разные точки, или даже четыре (в руку, ногу и под лопатки). Дикая боль в течение 2-3 дней, рука или нога просто отнимаются, жар до 40, жажда (и еще могут воды не дать). Проводится как "лечение" от алкоголизма или наркомании.

4. Бормашина. Привязывают к креслу и сверлят здоровый зуб, пока сверло не вонзается в челюсть. Потом зуб пломбируют, чтобы не оставалось следов. Любят удалять неубитый



нерв. Все это делается профессиональным дантистом в зубо-врачебном кабинете. "Санация полости рта". СПб не имеют надзорной инстанции – жалобы не перешлют, а если переслать тайно – их все равно не примут ни в прокуратуре, ни в Верховном суде. Узник СПб бесправен даже больше, чем зэк. С ним можно сделать все. Насколько мне удалось узнать, бормашина применяется редко и только в Казани (испробовано лично).

5. Газообразный кислород подкожно. Вводят его толстой иглой под кожу ноги или под лопатку. Ощущение такое, как будто сдирают кожу (газ отделяет ее от мышечной ткани). Возникает огромная опухоль, боль ослабевает в течение 2-3 дней. Потом опухоль рассасывается, и начинают сызнова. Применяют как лечение от "депрессии". Сейчас применяется к наркоманам как средство устрашения (чтобы боялись попасть в клинику). Вводят кислород 2-3 минуты, больше не выдерживают обе стороны (палачи глохнут от криков, жертва падает в обморок). Политзаключенным вводят кислород по 10-15 минут. (Испробовано лично, 10 сеансов.)

II. То, чего у О'Брайена не было

1. Аминазин (очень болезненные инъекции, при этом вызывают цирроз печени, непреодолимое желание заснуть – а спать не дают – и губят память вплоть до амнезии).

2. Галоперидол (аналоги трифтазин и стелазин, но они слабее). Создают дикое внутреннее напряжение, вызывают депрессию (черное излучение Стругацких), человек не может заснуть, но постоянно хочет спать, не может ни сидеть, ни лежать, ни ходить, ни писать (судороги рук изменяют почерк до неузнаваемости, не дают вывести букву), ни читать, ни думать. Неделя ударных доз – и нейролептический шок. Несколько месяцев – и потеря рассудка гарантирована.



3. Инсулиновый шок с потерей сознания (уничтожает целые участки мозга, снижает интеллект, память тоже пропадает).

4. Электрошок. Убивает сразу двух зайцев: во-первых, это пытка током, а во-вторых, разрушается непоправимо мозг.

Одного пребывания в этих стенах – без книг, без научных занятий (библиотеки фактически нет), без нормальных собеседников (политические сидят в разных камерах) – хватило бы на скорую потерю рассудка. Я провела там год и была уже на пределе: еще бы полгода – и все. Могу только позавидовать стойкости Владимира Гершуни, который в два приема провел в таких застенках по 3-5 лет. Моих запасов прочности хватило бы на лагерь. Но на это я не была рассчитана (в этом как раз эффективность комнаты 101). Я знаю, что многие переносили это легче, но ведь комнату 101 каждому подбирают индивидуально. Боюсь, что меня подвела здесь гордыня эгоиста-интеллекта (разум превыше всего! Моя личность не может быть принесена в жертву). Готовность к смерти и повышенная адаптация к любой физической боли не сочетались у меня с готовностью к отказу от разума при жизни.

Тем более что знакомство с Наташей Горбаневской показало, что диссиденты считают необязательным сопротивление в таких условиях. Здешние отречения нельзя использовать для газет и ТВ: сумасшествие не дает должного назидания; чего стоит раскаяние сумасшедшего? Потом, в 1978 году, я убедилась, что попытка держаться достойно в психиатрических застенках рассматривается диссидентами (да и инквизиторами тоже) как величайшая глупость чуть ли не на уровне инкриминируемого заболевания.

Я не пытаюсь оправдаться. В свете моих личных вкусов и убеждений оправданий отречению нет – даже в СПб. Со второй попытки, уже зная, что меня ждет, я смогу взять эту вы-



соту. Но в 20 лет я сбила планку. Интересно, что казанские врачи не требовали даже признания болезни. Они вели беседы, как в институте марксизма- ленинизма, требуя от патентованного умалишенного признания ошибочности его теоретических воззрений, как на партийных чистках 20- х годов (разоружиться перед партией). Однако раскрыть обман в моем случае не представлялось затруднительным, да я и не очень старалась, даже хуже Галилея, в силу юношеского легкомыслия. Одни наши беседы с Ниной Ж. и Наташей Горбаневской на прогулках чего стоили! А письма домой?

А моя манера с утра до вечера заниматься по навезенным книгам в учебниках французским (там я его доучила), латынью, греческим (научилась неплохо переводить), лингвистикой, английским; переводить Камю, Овидия и читать Томаса Манна! Получала я полтаблетки галоперидола на ночь, да еще с большим количеством корректора. Может быть, я понравилась врачам? Ведь они же, эти же нелюди, стерли в порошок и Лизу и Шуру, хотя те тоже заверяли их в своем "исправлении". Может быть, КГБ желал сохранить на будущее антисоветчика с организаторской жилкой и стремлением свергать строй – для оправдания существования V отдела? Может быть, казанских провинциальных инквизиторов впечатляли мои богатые московские передачи (рябчиков не было, но ананасы попадались, торты, икра, шоколадные наборы) и импозантные родители (сравнительно с другими визитерами)? Может быть, сыграли роль московские гостинцы, мясо, масло, щедро ими привозимые (этого в Казани в начале 70-х уже не было)?

Не могли же они меня просто пожалеть... Других же (кроме Натальи Горбаневской – отчасти) не жалели... Но самой криминальной была моя манера делить роскошные передачи и посылки на всех политических заключенных отделения. Там это совсем не было принято, Нина Ж. даже вначале отказывалась брать. Я вносила в Казань этику политических! Все остальное вранье летело к чертям. В раскаяние после этого поверить было невозможно. А дальше начинается крупное везение. Были применены не химические, а физические пытки. Это просто милость судьбы: два сеанса с бормашиной и десять сеансов с кислородом подкожно.



Не знаю почему, но у меня сложилось впечатление, что пытки без нейролептиков в Казани – это блат. Здесь легко отбиться: надо уметь молча терять сознание, желательно с улыбкой (конечно, с бормашиной это не проходит, здесь улыбка не получается – с открытым-то ртом! Но можно хотя бы не кричать и не стонать, а кислород улыбаться не мешает). Такое поведение ошеломляет, и на тебя рано или поздно махнут рукой. Я даже думаю, что поседела я в 20 лет не из-за этого, а из-за отлучения и обстановки.

Делается все это без ненависти к объекту воздействия: просто нудная, советская работа. Отпуская вентиль на баллоне с кислородом, обсуждают вопрос о том, кому дадут следующее звание и прибавку к жалованью и за что, где достать карпов и т.д.

Непосредственные исполнители – рядовые палачи – не любят криков и проклятий, это осложняет работу и не дает обсуждать свои дела. Поэтому ко мне они питали самые теплые чувства. К тому же простых людей ученость интригует. Даже главврач-полковник любил поговорить со мной о Таците и Гиппократе. Я в рубашке родилась: передачи делить я продолжала, а пытки они прекратили. Видимо, сработал советский стереотип: для статистики применено достаточно, а там чего надрываться-то? Пусть у ГБ голова болит. Без совка в "Совке" совсем можно было бы пропасть. Из передач доставалось мне совсем немного, казанскую еду я не употребляла. Скоро я вообще уже не могла есть: не осталось желудочного сока. Дикие приступы боли отбивали охоту что-то пробовать. Моим кураторам тоже было ясно, что конец не за горами. Может быть, при международной огласке (Юлий Ким, много сделавший для моего спасения Владимир Буковский), при том, что французы – преподаватели ИНЯЗа подняли шум там у себя, при передачах по "Свободе" каждую неделю моя смерть в казанских стенах в 21 год не была рентабельной? Диссиденты, безусловно, меня спасли, хотя я и не принадлежала к их корпорации. Может быть, они и не могли спасти всех, всеми Запад не интересовался? Даже наверное так. Мои нестандартные листовки (это не был



типичный уровень постижения ситуации 60-х годов) попали в первые "Хроники текущих событий". Та же Наташа Горбаневская их и делала. Мою фотографию я потом нашла в диссидентской квартире Иры Каплун за стеклом книжного шкафа... Диссиденты были единственными людьми, кто с 1959 до 1986 года что-то делал для страны. Мало что хорошего вышло? Это не их вина, а страны. У меня вышло не больше...

Комиссия, приезжающая в СПб два раза в год, для политических не имеет значения. Без санкции КГБ не "выписывают". Но если и выписывают, то радости, как говорится, мало. Освобождение здесь ни при чем. Снимается принудительное лечение (судом) в СПб, меняется на такое же в ПБ по месту жительства (для московских диссидентов – на Столбовой). Тем же этапом, под тем же конвоем везут в тюрьму по месту жительства, а там – в ПБ, где могут продержать до полугода (что и проделали с Олей Иоффе, да еще и продолжали пытаться). Тогда, опять-таки с санкции КГБ, суд снимает принудительное лечение. То, что от вас осталось, может идти домой. Местные живодеры подчас более свирепы, чем лощеные палачи из СПб; у последних, как правило, выше уровень развития, они и помиловать могут. На мою комиссию приехал лично Лунц – посмотреть на результаты. Я думаю, мой вполне дистрофический внешний вид его удовлетворил, а может быть, и испугал (учитывая международную огласку). Я была похожа на тень из Аида, ходила уже с трудом. Впечатляли и полуседые волосы (в 21 год).

Поэтому Лунц довольно скоро отпустил меня с миром, задав только два вопроса: "Изменились ли ваши убеждения?" и "Изменились ли они сами по себе или в результате лечения?". Ненавидя себя и понимая, что простить себе это я не смогу никогда, я ответила на первый вопрос "да" и на второй – "в результате лечения". Умиротворенный Лунц благожелательно сказал: "Вы должны из всего случившегося сделать для себя выводы", – сообщая тем самым решение комиссии и разоблачая всю эту муру с шизофренией: какие выводы может сделать для себя псих? Он же за себя не отвечает!



Я глубоко убеждена, что из СПБ своего противника нельзя выпускать живым: он делается вервольфом, и его никакая пуля, кроме серебряной, не возьмет. Он обречен на мщение обществу, и он не успокоится, пока не разрушит то государство, которое пропустило его через эту мясорубку. Я не хотела жить. Я не хотела свободы. Как бороться, имея в перспективе Казань? Как не бороться, зная, что ЭТО существует? Я не мечтала даже дойти до реки и утопиться: смерть не смыла бы мой позор, поражение не стало бы победой. Я должна была сразиться с ними на их поле – и их же оружием. Я должна была выиграть именно в этой игре. Но пока я просто умирала, и физически, и морально. Решения суда обычно ждут 2-3 месяца. Потом ждут этап. Из этапа запомнился жуткий холод. В Бутырской тюрьме я пробыла одну ночь и оказалась в санаторном отделении привилегированной Соловьевской больницы. Здесь моя мать, не последний человек в медицинском мире, могла мне помочь. Столбовая меня миновала. Вывез советский блат. Видимо, КГБ предпочитал, чтобы я умерла дома, а Столбовая была верная смерть в моем состоянии. Поэтому московским психиатрам, не участвовавшим в психиатрическом терроре, предоставили меня спасать, как им вздумается. Мне еще раз повезло. Те, кому не повезло, уже ничего не скажут и не напишут. Если бы я прошла полный, полнометражный конвейер карательной медицины, меня бы не было. Я бы не сохранила рассудок. Соловьевские врачи все понимали. Они делали вид, что не знают о том, что меня поместил к ним суд, дабы санаторные пациенты ни о чем не догадались. Лечить они пытались мое физическое состояние и даже предложили инсулин в терапевтических дозах. Со мной, конечно, случилась истерика. Послушав про инсулиновый шок и другие прелести СПБ, они уже не предлагали ничего. Был один бестактный профессор, который все стремился показывать меня студентам, но здесь я уже могла огрызаться и доказывать, что здорова как стеклышко. Соловьевские врачи пытались даже снять диагноз, но это зависело от КГБ, и никакие академики здесь помочь не могли.

Человек, прошедший через СПБ и ПБ, никогда не будет прежним. Он не сможет создать семью, иметь детей. Он никогда не будет посещать даже обычные ПБ, носить туда гостинцы и входить в комиссии, курирующие соблюдение прав человека в этих "богоугодных" заведениях: душевнобольные навсегда останутся для него орудием пытки, и он не сможет увидеть в



них страдающих людей. Он до конца своих дней будет бледнеть, видя машину с красным крестом, и не будет сближаться с психиатрами. Он никогда не обратится к невропатологу и не примет даже таблетку снотворного. Он не сможет смотреть фильмы типа "Френсис" или "Полета над гнездом кукушки". То, что с ним сделали, непоправимо. Он или возненавидит людей, или не сможет никогда причинять им зло – даже последним подонкам. (Слава Богу, со мной произошло именно последнее. Отсюда, наверное, пункт о всеобщей амнистии в программе ДС.) И держать его будут на коротком поводке. Есть такая штука – психо-неврологический диспансер. Политический после СПб обязан посещать его каждый месяц. Возьмется за прежнее – без суда и следствия попадет в ПБ (достаточно одного звонка из КГБ), а там и в СПб. "Тот, кто нарушит Закон, возвращается в Дом Странданиа". Все по Уэллсу.

Я не ходила в диспансер. Доктор Житловская все поняла и автоматически записывала, годы подряд, меня не видя, в журнал про мое "хорошее состояние", обманывая свое начальство и КГБ. Если 50 процентов психиатров участвовали в пытках, то 50 процентов сочувствующих спасали от 50 процентов первых и ГБ. Без них ни один диссидент, брошенный в комнату 101, не выжил бы. В Империи зла тихой сапой саботировало и подрывало устои Добро. Система не работала безупречно, винтики иногда отказывались выполнять команды даже в карательных структурах. России не дано было стать тысячелетним рейхом, в действительности она слишком противоречива и слишком сложна для идеальной деспотии. Эмоции, первый порыв (самый благородный), милосердие и самоедство, проявляющиеся в перманентном диссидентстве, опрокинут в очередной раз все планы национал-патриотов, все чаяния государственников. Третий Рим интересен тем, что постоянно разрушает сам себя силой рефлексии, без всяких варваров. Но вернемся к моим останкам.

Оказавшись дома, я должна была умереть: пища не усваивалась совершенно, не было желудочной флоры. Но достали югославские ферменты, и я выжила. Еще раз повезло!



«ПУСТЬ МЕРТВЫЕ ХОРОНЯТ СВОИХ МЕРТВЕЦОВ»



Мало того, что из спецтюрьмы выходит зомби, лишь внешняя оболочка бывшего человека, выжженная изнутри беспредельной ненавистью, предельным унижением и непозволительными для мыслящего существа страданиями. Но этот зомби еще и вынужден вести загробное существование. Возвращение в Лоно Церкви спасало от костра, но не избавляло от пожизненного заточения в монастырь на хлеб и воду (вариант, предложенный Жанне д'Арк). По-моему, Советы сильно прогадали, не давая своим жертвам мирно одуматься и отойти, вернее, уползти в сторону. Выживший в СПБ был навечно неблагонадежен, то есть он был "невыездной", нелояльный, подозрительный, состоящий под гласным надзором КГБ.

Но он же был и ненормальный, и состоял под гласным надзором психиатров нужного образца, и считался недочеловеком (гитлеровцы были гуманнее: они таких сразу отправляли в газовую камеру). Нормальная работа по специальности, учеба, брак для него исключались. Кто взял бы на работу вчерашнего узника КГБ и СПБ? И если бы не бунт "винтиков"... Воля к смерти после выхода из СПБ на- столько превышает волю к жизни, что конец был бы один, и очень быстрый. Мария Никифоровна Ольховская взяла меня воспитателем в детский санаторий, зная про меня все. Не все дорожили устоями СССР, многие радовались возможности хотя бы тайно, под землей, их подрывать. Кро- тов было гораздо больше, чем Буревестников. Этих кротов не хватало на то, чтобы режим рухнул, но формулу его дряхления и эрозии они обеспечивали. Режим и жить был не в силах, и умереть не мог.

Я люблю детей, но не люблю с ними работать: они чувствуют, что здесь можно сесть на голову. Корчаковское воспитание в советских условиях себя не оправдывало. Дневной сон я своему контингенту оплачивала леденцами: логическими



доводами я заставить их спать не могла, а насилие я применять не хотела и не умела. Дети были счастливы, родители – тоже, а я обливалась холодным потом, пытаюсь удержать свою группу от полного разбегания за Можай и от выцарапывания друг другу глаз. В ИНЯЗе мне выдали академическую справку со всеми моими пятерками ("отл.") и с отметкой, что я была исключена за поведение, недостойное советского студента. С такой справкой нечего было и думать куда-нибудь идти. Но я решила закончить институт – или не жить, потому что доказать, что это понижение статуса проистекает не от моей неспособности, а от политических репрессий, всем советским обывателям я бы не смогла. Тщеславие? Возможно, но, скорее, оскорбленное человеческое достоинство. Та же М.Н.Ольховская дала мне нелегально характеристику. Но где было взять еще две подписи на треугольнике? Какой профорг, какой парторг мне это подписали бы? Кто бы поставил печать? Можно написать отдельный детектив о том, как я ухитрилась, подобно Джеймсу Бонду, поставить обманом печать в нашем головном учреждении, а за профорга и парторга попросту расписалась сама. Документы, следовательно, были подложные. КГБ действовал нерасторопно (они узнали, что я учусь, только когда я была уже на IV курсе), и советская безалаберность обеспечила мне студенческий билет МОПИ – областного педагогического института им. Крупской. Москвичи учились там на вечернем (хотя для конспирации я поступила на заочное), там была отличная лингвистическая школа, библиотека, унаследованная от Высших женских курсов, а заодно там подрабатывали преподаватели из ИНЯЗа. Учиться на вечернем вообще трудно, в полудохлом состоянии – еще сложнее, а при необходимости знать раз в десять больше нормы (я понимала, что рано или поздно все откроется и начнутся попытки убрать за "академическую неуспеваемость") – и вовсе тяжело. Но это был вопрос чести и выживания, без диплома я не смогла бы вернуть себе самоуважение. Когда все встало на свои места, не все преподаватели захотели участвовать в травле "белого зверя", да и при вечерней системе это было сложно. Все должно было решиться на госэкзаменах. Со щитом – иль на щите! Это был мой личный бой, и никто не мог понять, как высока была ставка. И Сахаров, и Юрий Орлов успели получить свои степени до начала конфликта. Они были кем-то. Им было с чего начинать. Я не могла допустить, чтобы меня всю оставшуюся жизнь считали человеком, поссорившимся с системой из-за личной неудачи, а недоучка без диплома, если он не художник и не поэт, никем иным, кроме неудачника и люмпена, считаться



не будет. Обычно госэкзамен проходит гладко, спрашивают по 10-15 минут; "заваливать" свою же продукцию никому не выгодно. Но меня по специальности и научному коммунизму допрашивали по часу – полтора, а если еще учесть идеологический спор и здесь, и там, то к краю было близко. Однако мои десятикратные запасы сделали свое дело: единственное, чем комиссия могла утешить КГБ, – это поставить мне "хор.", а не "отл." и лишить честно заслуженного красного диплома, а на педагогике и этого не вышло, там не участвовали в заговоре и поставили "отл."

Шел 1977 год... На восстановление физического здоровья ушли два года. Я была в норме только в 1974 году. Моральное состояние восстановить было нельзя. Но к 1977 году я поняла, что первый шок прошел (восстановление длилось 5 лет) и я могу снова идти на тот же кошмар и выбрать перспективу медленной смерти личности в комнате 101, зачеркнув таким образом свое первое отречение (пытки не имели значения; я уже знала, что могу их выдержать; впрочем, это я знала всегда). Но нужны были свидетели, которые бы зафиксировали мою безукоризненную нормальность до того, как начнет исполняться очередной смертный приговор; нужны были свидетели компетентные и с возможностями засвидетельствовать это перед всем миром.

То есть дальнейшая деятельность была просто невозможна без диссидентов и контакта с Западом. К тому же нужны были товарищи, а где еще их взять? КГБ не оставлял жертве выхода, кроме продолжения борьбы. Человек из подполья вообще опасен, но зомби из СПБ опасен вдвойне. Если уж Буковский, выбравшись из Ленинградской СПБ, счел, что "нет в этой войне больше запрещенных приемов"... Именно тогда у меня сложилось решение: это государство должно лежать во прахе и руинах, этот Карфаген нужно стереть с лица земли, и провести борозду, и засеять солью.

Выпустить живым из СПБ – это хуже, чем не добить тигра-подранка. Сегодня государство треснуло, покосилось,



часть его обрушилась. Кончились две Пунические войны, но впереди последняя, третья, которая восстановит справедливость ценою гибели советского мира с его ценностями...

А во всем виноват КГБ, который перестал расстреливать своих врагов и дал нам возможность посеять и пожать нашу ненависть. Сказано же в Писании: пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Зачем меня выпустили с того света? Безумны пастыри, унижающие волков. Мы им не овцы. Нас надо отстреливать.



ВОЗВРАЩЕНИЕ В АИД



"Сеть" делается так: "А" находит людей, готовых распространять нелегальные материалы, не знакомит их друг с другом, придумывает им псевдонимы по своему ассоциативному ряду. Эти "узловые" дистрибьюторы (их у одного диссидента может быть 15-20 человек) находят сами .таких же людей, эта вторая ступень находит третью, третья – четвертую и т.д. Получается покрытие информационного пространства ячейками.

Такая сеть годится не только для распространения Самиздата, но и для листовок, и для терактов, вообще для любой подпольной деятельности. "А" знает только дистрибьюторов: он должен давать им книги и материалы и менять их потом, записывая под выбранными псевдонимами долги дистрибьюторов в "библиотечный абонемент". Дистрибьюторы свои псевдонимы не знают. Они передают книги своим людям II ступени и знают только "А" и этих людей. У каждого дистрибьютора свои контакты; они ими не делятся, ибо незнакомы друг с другом. Не знает их контактов и "А". В случае внедрения провокатора или предательства на следствии вся сеть не сгорит никогда.

Тот, кто пытается узнать больше, чем положено ему по схеме, считается провокатором. Я могла лично убедиться в том, что КГБ обламывает зубы о библиотечные абонементы и не может раскрыть ассоциативные псевдонимы. Книги так тоже почти не терялись, потому что были постоянно на руках. Как сказал кто-то из диссидентов: "То, что роздано, то сохранено". А на "библиотечных полках" ничего не было, кроме карточек. То, что поступало, сразу уходило в сеть. Обмен предполагался для экономии риска двойной: раздал, получил долги, разнес по тем точкам, где этого еще не было. Потеря книги считалась большим позором, книги мы ценили дороже нашей жизни. Святая простота!



В 70-е годы мы считали, что, если человек прочитывает Оруэлла или Солженицына, он бросает свои сети, идет за нами и делается ловцом человеков. Книги распространялись, как святое причастие, как Грааль. Их брали с благоговением и тайным ужасом: многие из них тянули на 7 лет. Конечно, в Москве в 70-е сажали уже не за это: скорее за правозащитную деятельность, за сбор подписей под письмами протеста, за участие в организациях типа Хельсинкской группы, не говоря уж про издание "Хроники текущих событий" или листовок и подпольных журналов. Изготовление книг преследовалось жестко, а распространение шло в обвинение (не включишь же туда членство в Хельсинкской группе). 70-ю статью "обеспечивали" Оруэлл, Авторханов, Конквест, "Архипелаг ГУЛАГ" ("Архип" – согласно неологизму Владимира Гершуни), Зиновьев. Унаследованная от Алика Гинзбурга после его ареста книжица "Процесс четырех" (дело Галанскова, Гинзбурга, Лашковой и Добровольского) дожила у меня до 1987 года и влилась в Независимую библиотеку, ныне захваченную штурмовиками из национал-патриотов (по крайней мере, на конец 1992 года она захвачена).

Западные, тамиздатовские книги карманного формата (кто держал их в руках, навсегда сохранит к Западу самые теплые чувства) были на вес золота: они шли на копирование, с них делали ксеро- и фотокопии. Фотокопии были жутко громоздкими и неудобными в обращении. "Архипа" носили в коробках из-под утюгов, он как раз там умещался. Часто обмен книг происходил, как в чухраевском фильме "Жизнь прекрасна", с помощью двух одинаковых пластиковых сумок. Я думаю, КГБ был в курсе, но гоняться за каждой книжкой в Москве не считал нужным. К диссидентам я пришла с готовой программой подрывной деятельности: листовки, создание политической партии, организация народа для борьбы. Я совсем забыла, что со своим уставом в чужой монастырь не лезут.

Диссидентам хватало и правозащитной деятельности, а если они ориентировали ее на Запад, то потому, что слишком хорошо понимали, что только там можно искать защиты, что



здесь не сдвинуть ничего, даже при несталинском уровне репрессий. К диссидентам пришел инсургент, к тому же народо-вольческого толка плюс народнический уклон, что вызывало, должно быть, у них массу неудовольствия. Но в те времена солидарность обреченных побеждала все разногласия. Я ничего не пыталась приукрасить, честно покаялась за Казань. От меня не требовали искупления, хотя я только о нем и мечтала. У диссидентов- западников была одна хорошая черта (то есть, конечно, не одна, но эта, пожалуй, главная): они были интеллигентны, терпимы, не требовали ни от кого жертв (жертвуя собой) и умели прощать.

Я помню, как простили Гарри Суперфину его ужасное поведение в тюрьме (назвал очень многих, то есть не только отрекся, но и предал) за то, что на суде он сумел взять обратно свое отречение и вел себя достойно. Прощали в первый раз после искупления костром; Юрию Шихановичу простили в первый раз и не простили во второй. Якиру и Красину, не сумевшим искупить предательство, не простили вообще. Отречение в СПб не считалось "западло": враги не могли его использовать, и потом, там жертвовали не только жизнью, но и разумом. Диссиденты жили под регулярно падающей секирой, ожидая очередного "расстрела заложников", но это не делало их ни злыми, ни печальными. Может быть, я не была с ними близка, но мы были рядом.

Саркастичная Ира Каплун (на вопрос, на чьей стороне она будет, если СССР объявят войну, она всегда отвечала: "На стороне нашего противника"). Суровая Маша Подъяпольская (все называли ее просто Машей, хотя она старше меня на 20 лет). Хрупкая, маленькая и неукротимая Мальва Ланда (при основании Хельсинкской группы написала особое мнение, что на Запад она обращаться будет, а к советским авторитетам – ни за что; при роспуске написала заявление, что она одна остается членом этой группы, вопреки ее роспуску). Гений протеста Володя Гершуни (тоже старше меня лет на двадцать), успевший в конце 40-х годов расклеить антисталинские листовки, сесть на 10 лет, пообщаться с Александром Исаевичем, помочь ему писать "Архипа" ("Истребительно-трудовые лагеря" – его неологизм), вернуться, сходить на первую демонстрацию на Пушкин-



ской в 1965 году, сесть в СПб, вернуться, заняться подпольной журналистикой, снова сесть и т.д.

В это время (со свежими силами) я изготовила кучу памфлетов (о новой Конституции, о советской прессе, о КГБ, об СССР, даже не помню, еще о чем, но их было штук семь-восемь). Это добро пошло в общий котел "Поисков" – тогдашнего самиздатовского журнала. Был он толстый, напечатанный на машинке, сегодня подошел бы разве что Партии труда, а тогда тянул на 1901! Что-то прибрал к рукам Сокирко, тоже нечто издававший под красивым псевдонимом "Буржуадемов". Наконец я нашла вполне "своих" и сошлась с неодицидентами, которые среди старших дицидентов слыли чуть ли не разбойниками: с Володей Борисовым, Колей Никитиным, Левоу Волохонским, Альбиной Якоревой и Женей Николаевым.

Это были люди молодые и веселые, ненамного старше меня, а Альбина – даже моложе. Они создавали новую субкультуру антисоветчиков, так как советскими людьми побывать не успели и были совершенно от социума оторваны (Борисов и Николаев успели посидеть, Володя – даже в СПб). Жили они где придется, как птицы небесные, питались чем Бог пошлет. Ночевали зачастую в каких-то партизанских землянках в лесу, обещали взять меня, когда проведут туда горячую воду (без нее я уже тогда не могла). Одета вся эта компания была соответственно. Они были изгоями и такими же волками, как я (только добродушными). Мы были счастливы и надеялись придумать много новых пакостей. Мы вместе писали правозащитные письма. Делалось это так: кого-нибудь арестовывают, оставшиеся на свободе пишут письмо. Я старалась впихнуть в это письмо хоть какие-нибудь политические характеристики режима и некий завуалированный призыв (к моему любимому революционному действию).

То есть я пыталась сделать оргвыводы. Остальные боролись со мной как могли. Западу это было не нужно, а больше никуда письмо не шло. Но я все равно подписывала все письма, даже плохо написанные, бледные, недостаточно радикальные:



они обеспечивали арест. Когда сажали человека, собиравшего подписи под письмом S1, писалось письмо S2 в его защиту, и после этого арестовывали того, кто писал письмо в защиту того, кто писал письмо в чью-нибудь защиту. Составлялось письмо S3 – с теми же последствиями. Это было немножко похоже на дом, который построил Джек, и было бы смешно, если бы не было так печально. Защищали всех, защищали тем, что садились рядом, в соседнюю камеру. Защитить человека было нельзя – можно было защитить идею прав человека, не имея никакой возможности защитить сами права.

И это было свято, и из-за этого каждый, выступавший и выступающий против диссидентского движения со стороны, будет навеки проклят. Самой колоритной фигурой в Движении был геолог Владимир Сквирский, или Дед (из-за бороды, а не из-за старости). Он ходил в народ, когда был на маршруте, "мутил" этот народ, пытался создать рабочее движение. То есть был явно ближе к революционерам, чем к диссидентам. Дед и завещал нам то дело, которым наша банда "разбойников" занялась после его ареста.



ПРОФСОЮЗ – ЭТО РОСКОШЬ, А НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ



У "Солидарности" была разумная история. Сначала 200 человек интеллигентов из КОС-КОРа воспитали рабочую элиту вроде Леха Валенсы (книгами, журналами, лекциями; их тиражи Самиздата, их библиотеки было не сравнить с нашими, да и Запад с его типографиями и ксероксами был к ним ближе). Затем уже вспыхнуло рабочее движение. Из "Искры" возгорелось пламя (из газеты "Роботник").

То есть Костюшко и Домбровский разбудили КОС-КОР, а КОС-КОР разбудил "Солидарность". У нас же XX съезд разбудил Булата Окуджаву и Юрия Любимова, они разбудили диссидентов, а диссиденты уже никого не могли растолкать: все спали мертвым сном. Подъем не состоялся. Поэтому вдохновлявшая Деда идея рабочих профсоюзов, независимых от ВЦСПС, была чисто платонической. Наш СМОТ – Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся – был отчаянной попыткой несчастной интеллигенции в порядке стахановской инициативы поднапрячься и произвести из себя еще и рабочее движение. Диссиденты-многостаночники сумели сделать и это. Смеяться над этим не лучше, чем убить пересмешника.

Надо сказать, что наша бурная деятельность протекала в таком отрыве от народа (кроме книг), что мне казалось, что она обрушивается в пустоту. Мы толкли воду в ступе и носили ее в решете. Это было утомительно и опасно для жизни, это приводило в тюрьму, но сама деятельность от этого не казалась мне более полезной. Все было выморочным и призрачным. Поэтому профсоюз обещал просто бездну смысла. Ясно было, что народ сдаст народника в КГБ, но до этого можно же было к нему (к народу, не к КГБ, хотя именно последний откликнулся) воззвать! Однако документы СМОТа меня очень расстроили. Они были уклончивы и ни к чему "такому" не призывали. Мне бы,



конечно, хотелось с ходу превратить СМОТ в Союз борьбы за освобождение СССР от большевиков. Володя Борисов меня утешил, обещав, что мы превратим СМОТ по ходу дела в политическую партию и что даром что документы уклончивые – самое сильное место было: защита политических прав трудящихся, – но и за них посадят. Что за них посадят – это было вполне правдоподобно.

Поэтому не влезть в это дело было просто неприлично. Володя как в воду смотрел: в той или иной форме сели все организаторы, а Марк Морозов вообще погиб (повесился в Чистопольской тюрьме). Все профсоюзные мероприятия проходили на квартире у Марка, и он был у КГБ бельмом на глазу. В СМОТе участвовал и Пинхос Абрамович Подрабинек, похожий на сказочного гнома. Были у нас и "старшие" – Юра Гримм и Петр Маркович Абовин-Егидес. (Тогда его социализм с человеческим лицом был так же не ко двору, как и теперь. То есть его считали диссидентом и при Брежнев, и при Ельцине.) Предполагалось, что профсоюз будет подпольным (из чего явствовало, что мы создавали Сопротивление под утлой крышей профсоюза), а представители каждой подпольной группы будут открытыми и войдут в Совет Представителей. Поскольку членство в СП обеспечивало посадку, я пошла на маленький невинный обман: придумала себе группу. Полагаю, что многие из моих профсоюзных соратников, если не все, поступили так же. А если у кого группа и была, то она явно не подозревала о наших на нее видах. Честнее всех поступил Володя Гершуни: он назвался рядовым членом.

Мы искренне жаждали создать будущую "Солидарность" (за два года до ее рождения в Польше); чем мы были виноваты, если рабочие не хотели вступать в профсоюз, который им мог обеспечить единственно право сесть в тюрьму? До нас робкая попытка соорудить совсем уж не политический профсоюз была сделана инженером Клебановым. И хотя бедняги все время пытались объяснить КГБ, что их не надо сажать, потому что они против властей не бунтуют, эксперимент стоил Клебанову пыток в спецтюрьме. Наша пресс-конференция на квартире у Марка Морозова производила странное впечатление. Еще до нее "старшие" – Юра Гримм и Петр Маркович, не вынеся



нашего хулиганского радикализма (к тому же, кроме Володи Борисова, все мы были пламенными противниками социализма), из нашей "затеи" удалились. Потом ввалился несчастный Клебанов "со товарищи" и стал нас честить, что мы его обокрали (составляет ли идея профсоюза интеллектуальную собственность, а если да, то чью?). Наша "банда", Володя Гершуни и Женя Николаев (вот когда Эдичка Лимонов пригодился бы, но тогда он был то ли мал, то ли уже за бугром) собрались на квартире у Марка Морозова. (Какие мы все-таки сволочи: когда Марка арестовали за наши дела и он, больной и пожилой человек, не выдержал и сломался и получил ссылку в Воркуту, мы его не простили, и он пошел "искупать кровью" свою слабость и схватил в Воркуте второе дело по статье 70, и второй приговор привел его на большой срок в Чистопольскую тюрьму, и там, одинокий и обреченный, он повесился. Никогда себе не прощу. Только такие катастрофы могут научить снисходительности человека нетерпимого.) Документы СМОТа мы спрятали по разным углам, даже в колыбели Альбининого младенца: КГБ мог прийти раньше западных журналистов). Странная это была презентация. Дед был у нас в числе членов СП "посмертно". Журналисты пили чай, щелкали аппаратами, писали в блокноты и смотрели на нас с опасливым уважением. Мы были смертниками, они это понимали. Потом английский журналист К'вин был даже перемещен из Москвы своим собственным Би-би-си за плохое отношение к тоталитаризму и избыточное сочувствие диссидентам (поэтому по части Нюрнберга над коммунизмом Запад идет с нами в долю). Здесь я познакомилась с бельгийским "корром" месье Диком. Он был вообще Дон Кихот. Ездил по всем лимитрофам и боролся с коммунизмом. В Чехословакии пытался помочь деятелям "пражской весны", устраивал им встречи с западными политиками. И сел в тюрьму! Насилу Бельгия его отбила. У нас в тюрьму его не посадили (не было принято, "корров" высылали), но он старался как мог. И это тоже Запад: К'вин, Дик и другие. Братство Кольца. Но самое ценное приобретение, которое мы унаследовали от Деда, это рабочие кружки. Они тоже весьма отличались от классических дооктябрьских образцов. Меценат и спонсор, тративший массу денег на "революцию", Юра Денисов (друг Деда) зазывал этих рабочих к себе, кормил и поил и предоставлял Деду для просвещения и агитации. Я унаследовала этих рабочих от Деда. Помню свою лекцию "Что мы отмечаем 7 ноября?". В сей праздничный день за хорошо накрытым столом. Но рассказала я про родной Союз такие страсти, что бедные гости утратили аппе-



тит, не допили и не доели. Пленка с моим докладом, как я потом узнала, на следующий день была в КГБ. Через третьих лиц мне передали ультиматум: или я прекращаю читать, или меня арестовывают. Естественно, я продолжила. Потом с этим кружком управились очень просто: вызвали кружковцев в КГБ и предложили иначе организовывать свой досуг. Что они и сделали. Лекторы жаждали просвещать, зато объекты просвещения все поразбежались. Нет слов, чтобы описать их тягу к революционной деятельности по освобождению своего класса. Мы щедро снабжали их Самиздатом; Комитет (или "Контора") все знал. Одну девицу даже лично высек отец, а наш Самиздат (ее порцию) сжег на балконе. С другими и этого не понадобилось. С кружком управились просто. Но я должна была получить свое по расчетной ведомости. И получила.



«ОТ СОДЕЯННОГО МНОЮ – НЕ ОТРЕКУСЬ»



Идя на неизбежный арест и возвращение (более чем вероятное) в "Дом Страдания", я просила у товарищей по диссидентству одного: достать мне ампулу с ядом, чтобы не попасться живой Им в руки, чем, похоже, страшно пугала диссидентов, которые смотрели на этот вопрос менее радикально. Расстрелять все патроны и оставить последний для себя – это и полезно, и приятно, и во всем в моем вкусе. Но откуда было диссидентам взять шпионский инвентарь? Поэтому из моего шикарного намерения броситься на свой собственный меч ничего не вышло.

Пришлось вторично идти в газовую камеру. Случилось это более чем оригинально. Меня арестовали на работе. Тогда я уже работала переводчиком и библиографом в научной библиотеке II МОЛГМИ (попросту во Втором Меде им.Пирогова). Директор этой библиотеки Алла Петровна Никонова, здравствующая и поныне, сексотка, сталинистка и коммунистка из "интересанток", обожавшая устраивать обыски в столах своих сотрудников, попросила меня спуститься с ней в подвал и помочь ей вынести оттуда какой-то стенд. Я, ничего не подозревая, спустилась. Этот подвал мы делили с РИВЦем (Вычислительным центром). Там меня уже ждала милиция. Кстати, инженеры из РИВЦа пытались выяснить, в чем дело, но их грубо выталкивали из подвальной комнаты и на все их вопросы, что здесь происходит, отвечали: "Вас это не касается". В самом деле не касалось: никто не попытался вступить, никто не стал связываться с "правоохранительными органами", хотя я и излагала ситуацию. Все покорно уходило. Когда здание опустело, меня силой выволокли на улицу (поскольку я решила ничему не подчиняться добровольно), запихнули в воронок и отвезли в 19-е о/м. Там я сидела часов до одиннадцати вечера, требуя без всякого результата прокурора, адвоката, судью и санкции на арест. Вопросы законности никого не волновали даже на уровне постановки проблемы. Тупое и нерассуждающее подчинение. Это



были не люди, а функции. Орудия системы, не имеющие собственной воли.

В 11 часов явились два достаточно злобных фельдшера и парочка санитаров. Все делалось просто, келейно, по-домашнему. Главным было решение Комитета. Остальное – приложится. Мои политические рассуждения на тему о "карательной медицине" и проклятия в их адрес впечатления не произвели. Санитары объяснили мне, что они получают хорошие деньги и, если они начнут выбирать между здоровыми и больными, а не брать, кого приказано, их семьи этих денег лишатся. Что я могла на это возразить? Только отказаться идти добровольно. Милиция взялась помочь. Конечно, если бы при мне было оружие, я без колебания перестреляла бы кого успела и из мундирных, и из халатных рядов, а последнюю пулю потратила бы на себя. Но оружия не было, и меня довольно грубо опять поволокли и бросили, куда полагалось. Мы ехали в 15-ю психиатрическую больницу, в 26-е отделение. Принудительная госпитализация такого рода не менее мучительна, чем посадка в СПб, но гораздо более унижительна. В СПб персонал знает, что к ним доставляют нормальных политзаключенных. Он привык, ему не надо доказывать свою нормальность. А в ПБ политические редкость, они нетипичны, и как вы объясните нянечкам, имеющим самый низкий образовательный ценз, что вы нормальны? Как объясните это посетителям, навещающим своих больных? Постоянное ощущение позора – это специфика ПБ. В СПб преобладают здоровые преступники, которым удалось "закосить". В ПБ настоящие больные. С ними придется разговаривать, они будут считать вас за своего. Политзэки, побывавшие в ПБ и СПб, если они горды и щепетильны, всю оставшуюся жизнь будут ненавидеть душевнобольных и не пожалеют их ни за что, ибо их когда-то сравнивали с ними в правах.

В этом отделении "психи" мне сломали две пары очков и облили раз кипящим чаем. Ей-богу, я была близка к пониманию гитлеровских мероприятий по уничтожению сумасшедших. Сама я бы этого делать не стала, но... жалко мне не было. Отделение было укомплектовано украинскими психиатрами, разделяющими идеи ленинградской школы. Здесь не верили ни



в вялотекущую шизофрению, ни в Лунца. Здесь вс' понимали и отказывались применять к политическим меры устрашения.

Ни одной таблетки я не получила. Я могла обложиться книгами и делать переводы. Еду мне носили из дому, диссидентов пускали на свидания. Но спать я в этих условиях никак не могла, и это порядком отравляло жизнь. Здесь не требовали отречения, но я перевыполнила норму: написала письменное заявление с отказом от тех заявлений, которые делались под угрозой лишения разума в СПБ, и с кучей политических пассажиров, разоблачающих все и вся. Врачи были в ужасе, они боялись, что это будет стоить мне перевода в СПБ пожизненно (и впрямь едва не стоило). С их точки зрения, подобное доказательство душевного здоровья было неубедительно: у нормального человека нормально работает инстинкт самосохранения. Выпустить меня без санкции КГБ даже украинские врачи ленинградской школы не смели. Начала я, кстати, с сухой голодовки. Но ее мне сорвали общими усилиями друзья-диссиденты, такую форму протеста не поддержав. От моего письменного заявления они тоже были не в восторге. Мои резкие движения мешали им меня защищать.

И это непонимание (при том, что Женя Николаев носил передачи от Фонда со швейцарским шоколадом и салями) было тяжелее всего. Кстати, Комитет довольно скоро "врубился" насчет лишних людей и лишних встреч, и диссидентов пускать перестали. У нас осталась переписка через родственников. Но от нее было мало радости, это была не поддержка, а перманентный спор на тему о том, чтобы я не вела себя так неосмотрительно. Знаменитый Володя Гершуни даже обратился ко мне с посланием, где называл меня "чуркой" – за строптивость. Я ждала не этого и здорово разочаровалась даже в нашей "банде". Моя идея ликвидировать психиатрический террор обязательным объявлением всеми его жертвами сухой смертельной голодовки или путем передачи яда на свиданиях (передать было, кстати, можно, никто особо не следил) поддержки не нашла. Яду мне никто не принес, хотя я бы в этом никому в таком положении не отказала, если бы могла достать. К тому же я убедилась, что жертвы психиатрических репрессий считаются диссидентами второго сорта. Воспитанная хозяйка не скажет вам,



что вы наследили на ее коврах, но будет посматривать на ваши грязные ноги. Не все же попадают в СПБ, а вас угораздило, и теперь с вами вдвое больше хлопот. То есть такое положение вызывает не только сочувствие, но и досаду. А потом со справкой из ПБ как прийти на работу? Как доказать, что это был арест, а не болезнь? Вот когда поймешь пушкинского Кочубея: "И первый клад мой честь была, клад этот пытка отняла". Даже если вы ее выдержали. Здесь я поняла, что никакой героизм, никакое достоинство в СПБ, ПБ и после этого не спасают от бесчестья.

Здесь же я познакомилась со знаменитым профессором Морозовым. Он явился лично посмотреть на свой "боевой трофей". После нашего с ним разговора-дуэли в кабинете заведующего отделением при персонале один врач уехал в Израиль, заявив коллегам, что в стране, где происходят подобные вещи, он жить не может. Оказавшись вместо Израиля в Мюнхене, он сдал запись нашей беседы на "Свободу" (магнитофон был у него в кармане). Морозов сказал мне, что меня следует уничтожить, ибо я опровергаю идеалы, ради которых он жил и воевал (ничего себе беседа "психиатра" с "больным"!). Он назначил "лечение", но все врачи отделения дружно отказались применять пытки, предпочитая увольнение. Уволить всех четверых сразу оказалось нерентабельно, и нас оставили в покое. Когда за несколько лет до этого в другом, но аналогичном месте Женю Николаева заставляли дать подписку об отказе от общественной деятельности, пытая нейролептиками, он сел и написал: "Отказываюсь от участия в субботниках, профсоюзах, октябрьских демонстрациях и ни за что не дам денег на ДОСААФ". Женя в Германии, и как же я была рада, что до него им уже не добратся!

В конце концов Володя Борисов меня все-таки вытащил. Его друг Виктор Файнберг, участник дела августа 1968 года на Красной площади, сидевший вместе с ним в Ленинградской СПБ, поднял на ноги английские профсоюзы. Они сделали то, что не могла сделать "Эмнести Интернэшнл". Просто английские докеры осадили советское посольство и три дня никого не впускали и не выпускали. На четвертый день меня освободили. Нам бы таких докеров, и не в 1979 году, а хотя бы в 1993-м! Я отсидела три с половиной месяца. Еще неделька, и я



потеряла бы рассудок от одной обстановки, без всяких пыток.
Блаженны гонимые за правду? Может быть, но на аренах и на
кострах, а не в психиатрических больницах!

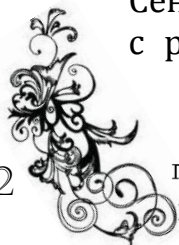


«НАШУ ЕЛЕНУ, ЕЛЕНУ – НЕ ГРЕКИ УКРАЛИ, А ВЕК!»



Выходя из психиатрического застенка, человек ощущает себя разбитым на сотни осколков. Разбитое сердце – это ерунда. А вот если разбита вся сущность... И ему бы в буддийский монастырь годика на два – собираться в единое целое. А я сразу окунулась в привычную диссидентскую жизнь, которой я не подходила и которая очень мало подходила мне. Я искала деятельности, но кружки разбежались, а распространения Самиздата и сочинения писем протеста мне было мало. Даже немые митинги, происходившие 10 декабря ежегодно у памятника Пушкину, оставляли чувство странной досады. Хотелось выйти с лозунгами, устроить массовую (человек хотя бы на десять) демонстрацию. Хоть и сесть, но за дело. Но никто на это не соглашался, а одиночный выход вопиющего на Пушкинской площади даже тогда выглядел бы жалко. 10 декабря надо было добраться до площади и ровно в 19 часов снять шапку. Это невинное и безобидное занятие доводило гэбульников до помешательства. Мало того что они тучей дежурили на площади и хватали всех знакомых диссидентов, они еще ловили потенциальных "декабристов" на подходе к площади, иногда за квартал, а то и прямо у дома. Наверное, им надо было писать в отчетах, что они предотвращают массовую инсURREKЦИЮ (мятеж), и поэтому надо расширить штаты и увеличить зарплату сотрудникам. И приводили в доказательство списки пойманных "инсургентов". А может быть, они понимали суть вещей и знали русскую историю.

14 декабря 1825 года декабристы тоже ни черта не делали на Сенатской, и лозунгов у них не было, и даже шапок они не снимали, а в результате менее чем через столетие пала монархия. Видимо, и диссиденты на тот же эффект подсознательно рассчитывали. Но на площади нам встретиться не удавалось, большинство хватало по дороге. Вот, скажем, типовой поход на Сенатскую образца 1980 года. Я очень тихо и вкрадчиво вышла с работы, поозиралась, ничего не обнаружила, села на 47-й



троллейбус, на Лесной из него конспиративно вышла, замечая следы, и пересела на 3-й троллейбус.

Каково же было мое изумление, когда в 3-м троллейбусе на одном сиденье со мной оказался гэбист, который мне проникновенно сказал: "Валерия Ильинична, поезжайте домой. На площадь вы все равно не попадете, а проведете вечер в одном неприятном месте". Я его, конечно, послала к черту. Но когда 3-й троллейбус остановился у Ленкома и я вышла, мой визави скатился следом, засвистел как соловей, и словно из-под земли выросли еще трое и поволокли меня в стоящую у тротуара машину. Я, конечно, призывала прохожих противиться КГБ, идти на площадь, а заодно и свергать строй (и все в один вечер!), но они как-то не соблазнились подобной программой. А меня свезли в участок и держали там до 23 часов.

А тем временем каждый из смотовцев получал свою долю репрессий. Арестовали в Питере Леву Волохонского по 1901. Дали ему, если не ошибаюсь, года два. (Потом уже по 70-й статье он заработал 5 и 5, то есть 5 лет лагерей и 5 лет ссылки.) Я была у него на суде свидетелем защиты. Защитник из меня плохой, зато обвиняла я всласть. Советскую власть, режим, а заодно и себя. Диссиденты страшно не одобряли мою манеру признавать свои личные действия. Но это, должно быть, у меня от Святослава: "Иду на вы!" Варяжская традиция. У меня в голове не укладывалось, как это можно не признавать своих действий, если они правомерны. Я нарушала все инструкции Альбрехта (фундаментальный труд "Как быть свидетелем"), излагая свое политическое credo ("Всегда!") на каждом допросе.

На Левином суде я не преминула заявить, что участвовала в СП СМОТа, подписывала все его документы и требую возбуждения уголовного дела и против меня. Действительно, суд вынес частное определение с рекомендацией так со мной и поступить (и еще с Володей Борисовым, Колей Никитиным и Альбиной Якоревой). Но, видимо, в истории со СМОТом была неуместна неувменяемость, а переигрывать не хотелось. Далее по той же статье арестовали Колю Никитина (тоже в Питере).



По-моему, Коле дали года полтора. Его следователь приезжал в Московскую прокуратуру допрашивать москвичей. Протокол моего допроса выглядел весьма своеобразно.

Он на все вопросы представлял три варианта ответа: 1. Нет; 2. Не помню; 3. Отказываюсь отвечать. Вначале шли теплые слова в Колин адрес, что он, мол, очень хороший (своего рода письмо, ведь при закрытии дела все это прочтет обвиняемый). Затем, напротив, утверждалось, что КГБ плохой, а строй еще хуже, то есть делались оргвыводы. Заодно я призналась в том, что инкриминировали Коле (написание какого-то письма, которое я в глаза не видела, и сбор подписей под ним). Напрасные усилия! Колю не освободили. Им в данный момент нужен был он, была его очередь. Следователь моим показаниям тоже не обрадовался: ему нужен был компромат на Колю, а не на меня.

Николай Шмелев в своем "Пашковом доме" пишет о диссидентстве неуважительно. Он не имеет на это никакого права, и это неправда. Василий Аксенов в "Ожоге" и Леонид Бородин в "Расставании" тоже пишут о нем не с восторгом, а с горечью, отчаянием и пониманием, но они-то пишут о своих, они право имеют. Мне кажется, что Василий Аксенов потому и уехал, что не нашел здесь желающих выйти с ним на площадь – и умереть. Я была в том же положении, но что позволено великому писателю, не дозволено гражданину. Великое завоевание диссидентского движения – это раскол общества на "мы" и "они", это конфронтация, это противостояние, это возвращение в общество культуры гражданской войны и идеи Сопrotивления. Но это возвращение произошло отнюдь не на нравственном уровне 1917 года, а на уровне нравственного превосходства гуманизма и либерализма перед большевистской дикостью. "Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители Земли" – это о диссидентах.

Прекрасно было и то, что нас объединяли не политические убеждения, а моральные принципы. Поэтому диссидентство под одной крышей могло собрать Петра Абовина-Егидеса,



Амальрика, Сахарова и Сквирского. Боюсь, что именно это потеряно, и безвозвратно. Сегодня "Память" не заступится за ДС, "Экспресс-хроника" не станет защищать гэкачепистов, Фронт национального спасения ничего не сделает для Виля Мирзаянова. Только один ДС позволяет себе роскошь защищать и тех, и других, и третьих, оставаясь последним из могикан лучшей диссидентской традиции. Другая великая истина, почерпнутая из моего любимого романа, – "Один за всех, все за одного". Она соблюдалась свято. После ареста забывались все разногласия, и все дружно кидались спасать даже того, кого еще вчера считали самой паршивой овцой из своего стада. Да и "паршивая овца", оказавшись в руках общего врага, не пыталась спасти себе жизнь за счет отречения от своих вчерашних оппонентов, за исключением таких предателей, как отец Дудко или пара Красин-Якир. Диссиденты были милосердны, но взыскательны: первое падение можно было искупить; была возможность подняться. Не прощались только "сдача" других людей. За это отлучали от "семьи" навсегда. Но искупать вину надо было кровью, идя на новый срок, в тюрьме, а не на воле. Очищались не словоблудием, а страданием. По этому неписаному закону я чиста. Перед диссидентами, но не перед собой. Не прощались слабость "во втором бою".

Не надо лезть в кадр, если не хочешь замечать житейской прозы. Проза была и у декабристов, и у народовольцев. Просто мы уже не можем присмотреться: они ушли. Поэтому не лезьте в диссидентское грязное белье. Если бы не перестройка и не заключение слишком многими из них мира с властью, они остались бы святыми в памяти народной. Но звездные годы у них были, и этого уже никому не отнять. Собственно, не зря диссиденты спасали такой чуждый элемент, как я. Они словно предвидели, что их знамя подхватит ДС, когда оно окажется на земле в начале нового, непосильного для них боя. Я возвращаю свой долг за спасение: пока я жива, это знамя будет развеваться на холме и никогда не будет брошено Демократическим Союзом к ногам коммунистических властей, объявивших себя антикоммунистами. Слишком поздно! Надо было заслужить себе президентские и прочие кресла не в обкомах и райкомах, не в Политбюро и ЦК, а в лагерях и Лефортове.



Только этот стаж действителен, только он дает право вести народ к западному либерализму. Хотя, впрочем, настоящий диссидент не берет платы, и если становится президентом, то со скрежетом зубовым и ненадолго, как Вацлав Гавел и Звиад Гамсахурдиа. Но я не могла многого у диссидентов принять. Я была еретиком и здесь. Свободный – значит чужой, и это навеки. Меня убивали отъезды на Запад, санкционируемые движением. "Уходящему – Синай, остающимся – Голгофа". Я была за безоговорочную смерть в бою, за бойкот и остракизм беглецам (кроме писателей типа Синявского, Максимова, Войновича, способных создать новые сокровища для России, и кроме узников ПБ и СПБ, для которых отъезд был единственной формой реабилитации своего достоинства). Я была жестока; я осталась жестокой, и это воплотилось в незыблемом принципе ДС: отказ от эмиграции, отказ от спасения. Я требовала от других только того, на что шла сама. В конце концов, когда изменяли силы, оставался выход Ильи Габая, который вместо невыносимого второго срока или невозможного дезертирства на Запад шагнул с десятого этажа. "Претерпевший же до конца – спасется". Я всегда презирала трусов. Воин не может уважать того, кто бежал от боя, бросив оружие и открыв фронт неприятелю. Я не была ни на одних проводах и никогда не буду, и каждому, кто попытается получить мое благословение на бегство от гибнущей России, обеспечено мое проклятие.

Это разводило меня с диссидентами, ибо они прощали уезжающих, даже если не бежали сами. Потом мне было непонятно, почему надо ждать очереди на арест, а не выйти всем вместе на площадь с антисоветскими лозунгами, и пусть берут сразу всех. Правда, ожидающий очереди был уверен, что его час придет. Всем уготована была одна участь, и это было легче, чем потом, когда одних выпустили, а других оставили. "Поджечь что-нибудь скорее и погибнуть" – солидным, отвечающим за продолжение правозащитной деятельности диссидентам было непонятно, как я могу руководствоваться этой формулой. Мне никто не дал бы делать "Хронику" – я внесла бы туда "оргвыводы".

Мои попытки сорвать ГБ всю установленную ими замедленную процедуру жизни и смерти по очереди в пещере у



Полифема, когда циклоп сам выбирает себе жертву на ужин, а других оставляет до завтра, не увенчались успехом. Никто не соглашался создавать партию, что означало бы немедленную гибель. А в одиночку партию не создать. Никто, даже Володя Борисов, не соглашался помочь сделать и распространить серию листовок на 10-20 тысяч, даже когда я достала деньги, чуть ли не полтонны бумаги, шариковые стержни для ротатора (сотни штук!), реку клея. Одна я не могла осилить чисто технический процесс; я лирик, а не физик или химик. Я была как в глухом лесу, я звала, но не слышала в ответ даже эха. В провинции были люди этого плана, соглашавшиеся на подобный безумный риск, но я о них узнавала только после их ареста. Каждый умирал в одиночку. А Ира Каплун сказала, что для блага нашего общего дела я должна уехать: я знаю языки, там буду плодотворно работать против власти, у меня есть для этого данные, а здесь от меня нет толку, я просто погибну медленной и страшной смертью в СПб, и это будет на их совести. Мой отказ привел к нашему разрыву. Мне хотели добра, но для меня такой выход исключался. А КГБ (через третьих лиц опять-таки) поставил ультиматум: или я уеду, или СПб со всеми вытекающими отсюда последствиями – уже пожизненно. Ситуация становилась безнадежной. Самоубийство исключалось, по крайней мере, на свободе: я хотела казни, а не добровольного ухода из жизни. Отказ от деятельности был невозможен: совесть не дала бы мне дожить до вечера. Все было исключено. "Но нашу шхуну зовут "Авось" – и я продолжала. Диссидента из меня не вышло, и я переквалифицировалась в народники. Мои личные диссидентские контакты самоликвидировались: Лева был в тюрьме, Коля – тоже (а потом он уже ничем не занимался). Альбина и Женя уехали на Запад. Володю Борисова схватили на улице, надели наручники, погрузили в самолет, довели до Парижа, до аэропорта Орли, положили на бетон и улетели в Москву. Володя был социалистом и часто повторял, что если и поедет на Запад, то только для того, чтобы все там развалить. Сижу теперь и дрожу, чтобы он не выполнил своей угрозы. Когда Брежнев посещал Францию, Володька собирался сорвать торжественную встречу. Не знаю, что у него вышло. Я оставила диссидентам письменную доверенность на подписание моей фамилией любых правозащитных писем. Доверенность была составлена в таких выражениях, что за нее одну можно было посадить.



Почему же не посадили? Почему не добились, задаете вы мне резонный вопрос. На Западе у меня не было такого имени, чтобы было опасно добить. У них был один вариант, наши отношения дошли до смертельной точки: Арест. Суд. СПБ. пытки. Моя сухая голодовка. Искусственное кормление. Потеря рассудка. Или, если повезет, смерть от травм. Тогда я не понимала, почему они этого не делают. И не думала о неизбежном страшном конце, справедливо полагая, что предаться ужасу и отчаянию я успею после ареста, когда не будет других занятий, когда действительно надо будет умирать. А сейчас надо жить и бороться. Секрет бесстрашия в аутотренинге и в легкомыслии. Надо уметь забывать о том, что тебя ждет. Чем беспечней человек, тем он храбрее. Я поняла уже потом, почему они оставили меня в живых, и это открытие не доставило мне удовольствия. Однако в свое время я поделюсь и им, когда мы дойдем до тех событий, которые навели меня на эту мысль. Делиться – так делиться, исповедаться – так исповедаться. Все равно я не смогу здесь изобразить ничего лестного для себя, обнадеживающего или утешительного – для общества.

Я нашла людей молодых, свежих и верующих, то есть уверовавших (неофитов). Были они, или казались мне, неиспорченными, неискушенными, умными и образованными. Я сумела заразить их своими идеями и упованиями, и мне казалось, что снесу им не будет, что они станут настоящими революционерами. Были же они честными, идейными интеллигентами; моей ненависти в них не было, обреченности тоже. Сегодня ни один из них уже не борется ни за что. Кружок стал составляться в 1983 году, новая сеть заработала в полную силу к 1985 году. Кого-то хватило на три года, кого-то – на два. Последний ушел из дела в 1991 году. В наш бумажный век заменителей и имитаций и люди имеют укороченный срок годности; Германов Лопатиных и Верочек Фигнер среди них нет. Только один не захотел уподобиться остальным, один избежал общей участи ценой жизни. В 1989 году самый чистый из нас, классический чеховский интеллигент Костя Пантуев покончил с собой. Я могу назвать только его имя, потому что страну ждут еще свинцовые времена, и я не хочу, чтобы проскрипционные списки составлялись КГБ по моей книге.



Какой КГБ, спросите, если сегодня это МБР? Ничего, переживут, пусть скажут спасибо, что не называю их НКВД или ВЧК. Мы тиражировали Самиздат, развозили его по городам, раздавали по группам, раскидывали сеть все шире и шире. Нашли ксеристов, нам размножали наши нелегальные материалы за деньги, но недорого. Для Кости Пантуева всякая политика была омерзительна, но он не любил жестокости и лжи. Произведения классиков Самиздата он делал, переплетал и раздавал с упоением. За книги мы платили ксеристам своими деньгами, а раздавали их даром. Сегодня, когда Авторханов, Солженицын и Джилас оцениваются в рублях, уже невозможно понять те евангельские принципы, которыми мы жили. Надеюсь, что после ухода, в дальнейшей мирной обывательской жизни, у тех интеллигентов наши совместные труды в сети останутся лучшим воспоминанием жизни, и они расскажут об этом внукам.

Мы хотели сконструировать ксерокс, это была великая мечта. Купить было нельзя, он стоил слишком дорого. Костя Пантуев назвал Ксероксом своего кота. Он любил говорить по прослушиваемому телефону: "Знаешь, у меня Ксерокс все обои ободрал". У Кости было абсолютное чувство Добра и Зла. Что-то вроде абсолютного нравственного слуха. Если какая-то затея ему не нравилась, она была точно дурная. Мои затеи ему были по вкусу: от них отдавало субъективным идеализмом, а это могло принести вред только лично мне. Костя годился мне в сыновья, но был гораздо старше и взрослее своим спокойным скепсисом и трезвостью. Он был как-то не по возрасту мудр.

Здесь начинается моя вторая "болдинская осень". Я настряпала кучу новых памфлетов; особенно хорош был один, сделанный в виде рекламного проспекта по Архипелагу восьмидесятых годов, с предложением его посетить. Мы все это пустили в свою сеть и вообще в Самиздат. Сделала я и программу будущей политической организации. Она называлась "Возможная программа возможного движения Сопrotивления". Она тоже ушла в сеть и Самиздат, многим нравилась, но никто не спешил присоединяться. Тогда я опять принялась читать лекции по истории СССР и Сопrotивления.



Мне удалось выяснить через посредников, имевших связь с девочками с АТС, что мой телефон прослушивается на Лубянке. Они могли бы нас взять, особенно меня, но не делали этого. Скоро мне предстояло узнать почему.



«ОДНА ИЗ ВСЕХ, ЗА ВСЕХ, ПРОТИВУ ВСЕХ»



В это время мы выпустили сборник политических анекдотов, подобранный по главам (анекдоты о строе, о партии, о вождях, о продовольственном вопросе, о национальных отношениях). Он был куда лучше современных сборников, имел прекрасное предисловие и оценивался не в рублях, а в годах. Впрочем, в Москве такса была ниже, чем в провинции. До конца, до 1986 года, брали только за листовки и демонстрации или за "организованную" подрывную активность. Ах, какого отличного Галича мы выпускали! В твердом переплете! Какие сборнички "Реквиема" Ахматовой вместе с другими ее стихами из той же оперы и постановлением о журналах "Звезда" и "Ленинград"! Да с предисловием, где были "оргвыводы"! А сборнички на 7-8 антисоветских песен Высоцкого! А Набоков, особенно "Истребление тиранов"! Это все было еще раньше, до 1983 года. Володя Гершуни дал мне книжку снять копию на один день, и я "Истребление..." переписала от руки, а оно жутко длинное...

В издательских делах здорово помогал Игорь Царьков, которого я безбожно оторвала от научной карьеры, вполне успешной и перспективной. Любой революционер, берущийся что-то организовывать и куда-то призывать людей, должен знать, что он будет ломать человеческие жизни. Боги жаждут... Революции – тоже. И если Игорь Царьков остался в живых, то никак не по моей вине. Своих благоприобретенных честных и идейных интеллигентов я вела к гибели, ужасаясь себе, но не раскаиваясь в этом. Является ли оправданием для такого заклятия ближних своих то, что и своя жизнь приносится в жертву, и то, что ты принуждаешь лишь морально, личным примером? Не знаю. Я не ищу оправдания. Я всегда использовала людей вокруг себя как средство для спасения России; знала, что это грех, и не каялась. Иначе я не могла действовать. Для России не было и нет другого выхода, кроме этого: "Возьмите иго мое на себя, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко". Впрочем, уходя в 1991 году из ДС с разбитым сердцем и искалеченной судьбой после восьми лет антисовет-



ской деятельности, Игорь Царьков, конечно, был вправе меня проклясть. Комиссара это бы не тронуло, но я еще по совместительству рефлексирющий интеллигент и каждую ночь проклиная себя за дневные труды и за то, что придется сделать завтра.

В КГБ меня не вызывали никогда: знали, что я не приду, а если привести в наручниках, не будет разговора. Но передавали через третьих лиц (достаточно робких, чтобы отказаться) разные гнусные предложения. Например, где-то в 1983 году было одно такое предложение. Учитывая мое несогласие с диссидентами (все квартиры прослушивались, так что ОНИ были в курсе наших споров), гэбульники "просили" всего-навсего, ничего не преувеличивая, рассказать в печати о сути нашего идейного конфликта. За это обещали снятие диагноза, научную работу, возможность защитить диссертацию. Или выезд за границу с кем и с чем угодно и трудоустройство в итальянской компартии (я бы на месте итальянцев крепко призадумалась по поводу своей компартии). Конечно, такие предложения даже не рассматривались. Именно к 1985 году я решила усовершенствовать наши маленькие книжно-подпольные дела и перейти к финальной листовочной стадии. Надвигался юбилей. 10 декабря 1985 года Пушкинскому вечернему выходу исполнялось 20 лет. Я знала, что мои интеллигенты из сети пока не готовы к более решительным действиям. Но если Еву соблазнили фруктом, то интеллигента можно взять стыдом. Я надеялась, что, если я сделаю совершенно самоубийственный жест на их глазах, они возьмут новую высоту и наконец станут революционерами.

Я изготовила серию листовок. На одной стороне было написано (в адрес Пушкина): поборнику прав – от бесправных. И шел цифровой набор: 20 лет. 5 декабря 1965 г. – 10 декабря 1985 г. Пушкинская площадь. Потом уже был записан текст, приведенный на пьедестале (полное стихотворение): "Любви, надежды, тихой славы..." и т.д., до конца. "Обломки самовластья" смотрелись в этот день особенно хорошо. На другой стороне был приведен малоизвестный блоковский текст:



На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, скорей глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоей отчизне.
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки,
Не можешь – дай тоске и скуке
В тебе копиться и созреть.
Но только лживой жизни этой
Румяна жирные сотри,
Как крот слепой, беги от света,
Заройся в землю, там замри.
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай, грядущего не видя,
Дням настоящим молви: нет.

Как сказали бы на московском сленге: не слабо... В тот год молодые диссиденты задумали перешагнуть через цепи, лежащие у памятника. Я приготовила свой сюрприз. Листовки были у меня в карманах. В наблюдатели и свидетели (и в объекты морального эксперимента) я пригласила Костю Пантуева (мы его называли "Пантик") и Игоря Царькова. Они крались за мной, старательно делая вид, что мы незнакомы. Ровно в 19 часов я выбросила веером первую партию листовок, потом вторую и начала читать стихотворение "Любви, надежды, тихой славы...". Успела прочитать одну строфу; на меня кинулись четверо гэбистов и потащили к машине. Еще две строфы я выкрикнула по дороге, но до "обломков" не дошло. Гэбисты были полны огорчения и печали. Они сказали, что очень удручены,



потому что им меня жаль, но они обязаны за такие вещи наказывать.

Я надеялась, что на этот раз наказание будет эстетичнее, чем обычно. Мы приехали в 108-е отделение. Потом Костя Пантуев мне рассказал о событиях на площади после моего "увода". Молодежь и непойманные диссиденты моментально схватили по листовке, засунули за пазуху и приняли безмятежный вид. А гэбисты стали просеивать по щепотке снег вокруг памятника, чтобы выловить все листовки.

Меня погубила литературность моего замысла. Если бы это были мои стихи, хватило бы на 1901, по крайней мере. В участке гэбисты очень суетились и не верили, что это Блок. Я посоветовала им завести консультанта с филфака. Они притащили том из четырехтомника Блока (я им подсказала, где искать) и с разочарованием обнаружили стихотворение. Не могли же они судить человека за распространение стихов Пушкина и Блока! На этот раз они пытались покончить дело миром и подписать что-то типа пакта о ненападении. Один прямо спросил, не можем ли мы договориться. Я ответила, по своему обыкновению, что между нами горит мост, что мы никогда не договоримся, даже если с ними договорится вся страна и я останусь одна. Я и была одна, но к 1985 году я уже привыкла к этому, и светлые надежды 60-70-х годов уступили место каменному упорству волка, живущего в кругу флажков, и яростному отчаянию смертника, который хочет только одного: подороже продать свою жизнь. Все повторилось: сначала стихи, потом пули и кровь, минус любовь из окуджавского арсенала. Времени примириться быть не могло. Дежурный психиатр, очень похожая на Эльзу Кох, санитары, насилие, 26-е отделение. Полтора месяца кошмара. Опять меня никто не тронул, и мне постарались создать условия. Но бедные темные нянечки считали повторно поступающих хрониками, и в политике они не понимали ничего. Одно замечание такого рода, даже вполне жалостливое, – и я готова была убить всех и себя в том числе.



Когда меня выпустили, Игорь Царьков был достаточно потрясен для того, чтобы принять участие в моих листовочных программах, а Костя Пантуев на правах друга не мог не помочь. Я могла бы их пожалеть. Но не пожалела. Я не имела перед собой добровольцев, из которых могла бы выбирать. Счастливы были диссиденты, которые могли позволить себе роскошь отсылать желающих помочь, как Антигона отказалась от соучастия в ее гибели Исмены. Правозащитник не губит никого, кроме себя. Революционер неминуемо губит еще и других. Но в чем они в России сходятся – это в невозможности кого-нибудь спасти. Итак, листовочный кооператив заработал. Я написала серию элегических листовок в стиле Гаршина, помноженного на Леонида Андреева и разбавленного Достоевским, для творческой интеллигенции. Они были способны тронуть даже сердце статуи из Летнего сада. Похоже, что и сердца людей они тронули, потому что в КГБ их не отдали. Почему я знаю наверное? А потому, что они были все написаны мною от руки, только адреса на конвертах печатал Игорь Царьков на машинке. И если бы хоть одно письмо попало в "компетентные органы", меня бы немедленно взяли. Листовок они не прощали даже в Москве. Их было 100 штук, этих толстых конвертов. Они были адресованы во все литературные и отчасти научные журналы, во все театры и творческие союзы. Машинку мы взяли напрокат (это тоже был след, и очень четкий). Я лично по 5 штук на ящик разложила их в 20 разных почтовых ящиков Москвы. Меня не арестовали, значит, листовки пользуются спросом – таков был мой вывод. И мы запустили новую серию.

Наше СП набирало обороты. В это время уже правил Горбачев, и золотой апрель был позади. Шел аж сентябрь 1986 года. Никаким реформатором Горби в 1985-1986 годах не казался, полюс холода не таял, лагеря не распускали, а впечатление он производил прескверное, главным образом, своим апломбом. После его печального опыта по осушению винных бутылок путем вырубания виноградников мы решили, что перед нами второй Хрущев минус XX съезд, то есть самодур, который будет стучать в ООН башмаком по столу или еще что-нибудь выкинет. Следующая наша серия была рассчитана на рабочих. Мы высмеивали не только родной строй, но и Горбачева; вопрошали, где наша "Солидарность", и кончали стишком Брехта:



Идут бараны

И бьют в барабаны.

Шкуру на них дают

Сами бараны.

Это мы писали вместе с Игорем Царьковым, соавторство удалось. Листовки получились настолько хорошими, что снискали одобрение одного из маститых диссидентов, хотя они и не любили таких вещей. Этот диссидент мне и напечатал на папиросной бумаге основную партию, около двухсот штук. Печатали ночью у него на работе, под диктовку. Дома квартиры прослушивались. Напечатали. Пронесло. Костя Пантуев к тому времени разжился машинкой и одолжил ее Игорю Царькову. Тот, по своей безалаберности, напечатал из положенной ему доли только 60 штук, в последний вечер; нарушил все правила безопасности, поздно, почти перед акцией отвез Косте машинку, которую тот уже убрать не успел. К тому же полагается чистить от компромата квартиру, а он схалтурил и здесь. Во всем была виновата я. Видя, что человеку до смерти не хочется идти на этот безумный риск, я могла бы сжалиться и освободить его от "клятвы". Но мы, волки, жалеть ягнят не умеем. Даже либеральный Владимир Буковский со злобой и ненавистью пишет в своей книге о бывших товарищах, ушедших из дела и прикованных к колясочке.

Пишет он об этих людях и их колясочках с такой злобой, что становится неприятно. Все мы, бывшие там, жалеем только своих. "Вольняшки" для нас чужие. В "Круге первом" у Солженицына то же самое. "Вольняшка" у него не имеет души, только зэк – человек. А ведь Буковский и Солженицын революционерами себя не считали... Бедный Царьков не мог отказаться, тем более перед женщиной (о, я ведала, что творю; я искренне думала, что участь мятежника выше судьбы доктора наук).



Листовки решено было распространить в рабочих кварталах, в двух местах: на Пресне и в районе Калужской заставы, в ночь на День Конституции, на 7 октября. Но на старуху случилась проруха, и даже не одна, а целых две.



«ВОТ ЧЕТВЕРТЬ БЬЮТ ЧАСЫ ОПЯТЬ...»



На нашу беду, в это же примерно время в Москве были кем-то распространены еще какие-то листовки (дело N190). Мы к ним не имели никакого отношения, но после их обнаружения все потенциальные "листовочники" столицы были взяты "на карандаш", то есть на постоянное телефонное и наружное наблюдение. С телефонным им, положим, утруждать себя не пришлось: мой телефон и так прослушивался непосредственно на Лубянке, а не на АТС, причем круглосуточно. Насчет квартиры не скажу, но на всякий случай все писалось на бумажках. У меня – но не у Игоря Царькова. По своей беспечности он всеми моими ЦУ пренебрег. Этим он подписывал себе приговор, и не только себе. Видя такую "неряшливую" работу, полагалось выводить из дела. Если бы я могла предположить, что машинка не спрятана вовремя, что она поехала к Косте в последний вечер и осталась там (по правилам за 20-30 дней до акции все чистится, убирается подальше, и прекращаются все опасные для кого бы то ни было контакты), я бы отменила акцию и потом через две недели сделала бы все сама, без Игоря Царькова. Но про все накладки и проколы, про то, что в Москве есть еще нераскрытые "листовочники", я узнала там, где узнают про такие вещи "сапожники" Сопротивления, его двоечники: на Лубянке. Наша акция была образцово-показательной на предмет "Как не надо распространять листовки". Впрочем, теперь я понимаю, что мой богатый опыт и знание всех тонкостей мне все равно бы не помогли. Не было ни чего тайного (при моем-то досье), что тут же не стало бы явным. Подпольная работа для диссидента была исключена. Он был известен КГБ, отслежен и, следовательно, полностью профнепригоден. А Игорь Царьков и опыта не имел, и советами пренебрегал. Итак, в 12 часов ночи я вышла от одного студента из сети, который жил с семьей в районе Пресни. Его квартира была почищена на славу, и он ничем не рисковал даже при обыске, а за знакомство со мной в 1986 году уже не могли посадить. Я села в трамвай, не замечая никакой слежки (когда КГБ хочет следить, а не впечатлять, он на ноги не наступает, а делает все дистанционно). Народ накануне выходного 7 октября празднично спал. Проехав 3-4 остановки, я вышла и, как тать в ночи, почти ничего не видя (-12 зрения, особенно но-



чью, – это почти слепота), стала искать домик побольше с почтовыми ящиками внизу, и чтобы в них была широкая щель. Облюбовав себе восьмиэтажный дом с наружными лифтами, я аккуратно засыпала листовки в ячейки на первом этаже первого подъезда и пошла опылять второй.

Больше всего я боялась, что загулявшие жильцы неожиданно войдут в подъезд и придется с ними объясняться. Про КГБ я как-то забыла, зато он обо мне не забыл. Едва я успела опылить второй подъезд, как дверь с шумом распахнулась, ворвались семь или восемь человек очень специфического вида (это была так называемая "группа захвата"), прижали меня к стене, схватили (но не грубо, а бережно, как рыболов хватает снятую с крючка драгоценную форель) и с торжеством заявили: "Добрый вечер". И тут же каким-то специальным аппаратом стали освещать почтовые ячейки. "Да, все они тут. Лежат. Надо забрать и из соседнего подъезда", – с глубоким удовлетворением констатировал самый противный на вид "захватчик". Гэбисты пошли звонить в квартиры, чьи номера были написаны на ячейках. Когда смертельно испуганные жильцы в халатиках и пижамах спускались вниз, их заставляли открывать ящики своим ключом; потом им издалека показывали листовку и просили запомнить, что ее достали из ящика при них, а также записывали паспортные данные: имена, фамилии, адреса. Это означало полномасштабный арест, КГБ, Лефортово, суд. Волнение совершенно прошло. Мною овладело какое-то ледяное спокойствие. Бояться было больше нечего, на этом подъезде для меня кончались все земные проблемы. Оставалось достойно встретить конец. После Казани и пыток сюрпризов у них для меня не оставалось (по крайней мере, я так считала). Испуганным жильцам я еще пыталась что-то объяснить, ведь это была моя последняя возможность говорить с людьми. Поэтому меня быстро увели, посадили в машину и отвезли в ближайшее отделение милиции. Там мои рыболовы отобрали у меня сумку с листовками (добровольно я не отдавала) и стали звонить на Лубянку. В их тоне звучал нескрываемый восторг рыбаков, делящихся впечатлениями с истинными знатоками подледного лова: "Вот такая щука... Пять кило! И просто на блесну!" Мы ждали часа два-три. Ведь взяли меня оперативники, гэбистская черная кость. Когда мне понадобилось пройти в "дамскую комнату", меня не отпустили одну, а снабдили женщиной-дежурной (откуда-то выкопали). Это тоже означало арест. У меня отлегло от



сердца. Я обрадовалась! Значит, они переигрывают пластинку, значит, не принудительная госпитализация, а срок, то есть смерть (я давно решила, что в неволе жить не буду, на каторгу добровольно не пойду, а объявлю смертельную голодовку. Даже в случае искусственного кормления она кончится медленной мучительной смертью от механических травм). И вот приехали "сливки" гэбистского общества, офицеры следственного отдела и импозантный седовласый джентльмен, который представился мне как "Петр Александрович" и к которому все обращались как к старшему. Он был очень похож на Великого Инквизитора из "Жаворонка" Ануя. Он смотрел на меня ласково и сочувственно, мудро улыбался, горестно качал головой и поведал мне следующее: "Я, Валерия Ильинична, ваш куратор. Мне поручили вас еще с того первого вашего глупого поступка в 1969 году. Я всегда вас защищал. Мы вас щадили при всех обстоятельствах, надеялись, что вас можно будет сохранить для общества. Но вы упорствуете. Вас нельзя оставлять в живых. Поэтому это наша первая и последняя встреча". Что можно было ответить на столь прямые и откровенные комплименты?

Только то, что я благодарна ему за слишком позднее, но все же состоявшееся признание моей неисправимости, хотя я и прежде не давала повода для подобных надежд на мое примирение с советской действительностью.

Петр Александрович полистал мои листовки, одобрительно хмыкая, прочел и заявил, что по тексту они тянут не на статью 70, а на 1901, но если я договорюсь со своим следователем о статье 70, то поеду в лагерь к своим, а он возражать не будет.

Я была на вершине блаженства. Я знала, что в лагере не выживу, но это была возможность умереть достойно и пристойно, да еще среди товарищей. Это работать с диссидентами мне было трудно; сидеть с ними было одно удовольствие, потому что кодекс тюремной этики, этики политзаключенного, они соблюдали до тонкости, то есть "сидели красиво". В красивом же красном автомобиле мы приехали на Малую Лубянку, в



следственный отдел московского управления ГБ. Я там уже была в 1969 году. Первый допрос длился 15 часов. Потом Лариса Богораз очень пеняла мне на то, что я не прервала этот "конвейер", который занял всю ночь и часть дня: это было нарушение советского законодательства и международных конвенций. Но я никогда бы не согласилась высказать завуалированную мольбу о пощаде ("Прекратите допрос, я больше не могу, у меня нет сил"). К тому же гэбисты с 40-х и 50-х годов порядком дисквалифицировались и забыли, что надо менять следователей.

Так что утром мы с моим следователем Сергеем Сергеевичем Юрьевым заснули каждый в своем кресле по обе стороны его письменного стола. Не успели мы хорошенько рассмотреть первый сон, как явился подполковник Валерий Мелехин и добродушно, но с укором нам сказал: "Вы что это, ребята, разлеглись? У вас еще в смысле работы и конь не валялся. Вот допишите протокол, тогда и поспите". Во время допроса я главным образом ругала всячески советскую власть и наводила в деле тень на плетень. Обычно я так все запутываю, беря на себя ответственность не только за свои, но и за чужие действия, что потом даже Малюта Скуратов не разберется, и новых обвиняемых впутывать в мое вранье чрезвычайно сложно, потому что на них просто не остается криминала. Вот и сейчас я зафиксировала в протоколе, что все листовки я лично сама и напечатала (а я и печатать-то не умею, но это надо доказать!). Второй обыск у меня дома дал такие же скудные результаты, как и первый, в 1969 году. Все ценные книги и бумаги были заблаговременно убраны. Сергей Сергеевич был сама любезность. Допрос можно было бы назвать журфиксом. Даже статью предложил выбрать себе по собственному желанию. "Я пишу: статья 70-я, – заметил он. – Ведь вы не возражаете? Ведь у вас же был умысел подрыва строя?" Что я могла возразить? Я сказала, что я "за", что семидесятка – вообще моя любимая статья в УК. А в это время происходило следующее. Игорь быстренько рассовал свои листовки. За ним шли два агента, он заметил их, но решил обмануть. Они слышали характерный стук листовок о дно ящиков. Когда они поднялись на четвертый этаж, Игорь сложил губки бантиком и сделал вид, что он ни при чем, в весьма своеобразной форме. Представляете себе человека, который в холодную осеннюю погоду в час ночи стоит на лестнице у почтовых ящиков и читает "Иностранную литературу"? Они хотели его взять, но их было мало, и Игорь "сделал ноги" и ушел. Мы



договаривались, что, если я не позвоню до четырех часов ночи, это означает, что я арестована. Я не позвонила. Игорь спокойно лег спать, не попытавшись хоть как-то о себе позаботиться. О себе и о Косте! После обыска (ко мне домой пришли в три часа ночи) мама опять ему позвонила. Игорь поблагодарил и заснул. Разбудили его утром гэбисты. Они ухитрились найти завалившиеся за шкаф мои памфлеты, в том числе и программу Сопротивления. А мы-то их искали! Если вы что-нибудь потеряете, не делайте генеральную уборку, а вызывайте ГБ. Они сразу найдут! Потом гэбисты, забрав на Лубянку Игоря, отправились к Косте и Артему, у которого я коротала вечер на Пресне. Артем был предупрежден и не боялся. Из квартиры давно убрали все. Гэбисты сделали его ребенку "козу", обшарили напрасно шкафы и удалились. Добыча у Кости была гораздо богаче, ведь он из-за Игоря ничего убрать не успел: машинка, рукописи, журнал, который мы издавали (впрочем, безобидный), кое-какие книги, фотообъективы для копирования. Если бы гэбисты не нашли ничего, они бы Костю не забрали с собой, даже зная о нем все. Отсутствие улик и твердое поведение (не признаваться хотя бы!) обеспечивали безнаказанность, по крайней мере, для новичков.

Против Игоря улик не хватало тоже. Взяли с личным только меня. Костя держался стоически (какой-то апофеоз порядочности) и даже спросил, не надо ли ему взять с собой зубную щетку. Гэбульники посоветовали взять с собой десятку (Костя думал, на тюремный ларек, а оказалось, на обратное такси). Дальше вся компания стала демонстрировать массовый героизм. Когда мне только заикнулись в форме вопроса, не распространял ли Игорь Царьков листовки на Калужской, я немедленно заявила, что сделала это лично, до Пресни. Игорь Царьков, в свою очередь (а ему велели дома одеться потеплее, потому что решили заранее брать), взял на себя мои листовки на Пресне. Костя Пантуев писал в протоколе, что листовки печатал лично он (когда ему объяснили, что установлено, что они были напечатаны на его машинке). Ведь он не хотел говорить, кому дал машинку. Я утверждала (когда мне показали машинку), что печатала я и брала ее сама, лично, а у кого – не скажу. Игорь Царьков признавался в том, что печатал и распространял все листовки. Гэбисты ошалели. Три Дон Кихота сразу для одного дела – это было многовато. Особенно интересно допрашивали Костю. Они никак не могли понять, к какой категории он отно-



сится. "Вы хотите сесть в тюрьму?" – вопрошал гэбист. "Нет", – честно ответил Костя. "Так чего же вам нужно?!" – кипятился следователь. Костя добросовестно пытался объяснить: "Видите ли, я хочу знать, что есть истина. Я ее ищу". "Вот-вот, – радовался гэбист, – мы тоже ищем истину. Поищем вместе. Итак, кому вы дали машинку?"

За весь этот массовый героизм меня мало было убить. За любые срывы отвечает всегда организатор, даже если он лично сделал все правильно. Организатор отвечает и за других, и их ошибки – его ошибки. Мой Сергей Сергеевич очень огорчился. "Ну, если вы настаиваете, доламывайте свою жизнь, а я умываю руки", – сказал он. Это было прощание. Как говорится, до скорого в Лефортове. Валерий Мелехин тоже напутствовал меня: "Ну, Валерия Ильинична, вы сделали все по вере своей и теперь с сознанием выполненного долга можете ехать в тюрьму. Впрочем, вы там уже были". Я, конечно, сохранила о Лефортове самые теплые воспоминания. Но если в 1969-1970 годах отель "Лефортово" был с двумя звездочками, теперь он получил еще одну. Душ устраивали и белье меняли теперь каждую неделю. Душ выложили розовым, белым и голубым кафелем, даже кабинки-камеры для переодевания были все сплошь в кафеле. Получилось лучше, чем в Сандунах. Прогулочные дворики сделали на крыше (перенесли снизу). В камеры выдали красные пластмассовые тапки для стирки. Следователи стали вежливыми и воспитанными до тошноты. Они теперь напоминали месье Пьера из "Приглашения на казнь" Набокова. Извинялись, что задают вопросы на допросе! Сами записывали нужный ответ: "Отказываюсь отвечать по морально-этическим соображениям". Вопросы звучали так: "Я понимаю, что вы на этот вопрос не ответите. Но я обязан его задать. Я записываю, что вы отказываетесь отвечать по морально-этическим соображениям?" Среди этих Джонни Джентльменов хорошо было бы ставить пьесы из театра абсурда. Мои воспитательные акции возымели действие и спасли грешную душу следователя Юрьева. Он в конце концов сказал, что ему стыдно вести это дело. Зато полковник Мелехин был непробиваем. Он мне заявил, что слово – тоже оружие, поэтому отвечать на Слово Делом (арестом) совсем не подло (в чем укоряла его я). И в самом деле, для не владеющих Словом какое остается оружие, кроме автомата и дубины? Вам это скажет первый встречный питекантроп, разделяющий с КГБ его нравственные принципы. А вообще-то спорить



с ГБ неинтересно: в конце концов попадаешь на вечный гранит несходства моральных установок. Это все равно что спорить с марсианами Уэллса о недопустимости их способа питания. Кое-что было прежним. В частности, желание прибавить мне статью 72 (антисоветская организация) на основании памфлета "Возможная программа возможного движения Сопротивления". Я не возражала против статьи (кашу маслом не испортишь), но спросила, не считает ли он (следователь), что слово "возможная" делает версию об организации неубедительной. Ответ меня потряс:

- Ну и что? Главное, что есть программа, а есть организация или нет – это дело десятое.

Здесь у меня возникли подозрения, что за организованных антисоветчиков платят вдвое больше, чем за неорганизованных. А вообще-то мое поведение на следствии сильно раздражает. Его модель – это поведение разбойника (видимо, архаичного партизана) из народной баллады "Не шуми, мати зеленая дубравушка". То есть сначала ты нагло заявляешь, что воровал (бунтовал) и не каешься, а потом на конкретные вопросы о соучастниках несешь полную чепуху: первый товарищ – острый нож, второй – борзый конь и т.д. Кого брать под стражу? Темную ночь, что ли? Здесь и Иван Васильевич, и гэбисты лезут на стенку, особенно последние, потому что первый располагал застенком и Малютой. Желая меня убедить в том, что не я распространяла листовки на Калужской, следователи даже показали мне протокол допроса Игоря Царькова. Он производил сильное впечатление. "Я понимаю, что мой поступок был бессмыслен, но не жалею о нем. Я не мог этого не сделать..." Полк спецвойск КГБ, поднятый по тревоге, обошел весь район Калужской заставы и, запугивая жителей, выловил все листовки. Плюс к этому еще пожелание ветеранов войны в смысле расстрела авторов.

Костя Пантуев успел съездить к Ларисе Богораз и написать отказ от дачи показаний в знак протеста против политического процесса.



Комитет в это время начал уже халтурить. Они спокойно записали, что экспертиза установила, что все листовки были напечатаны на одной машинке, а они были напечатаны на двух! А Игорь Царьков на очной ставке попросил оставить ему его долю листовок на Калужской. После чего наши показания надо было клеивать: каждый говорил только о своих листовках, полностью игнорируя вопросы о второй половине акции, и получалось, что мы действовали независимо друг от друга. Впрочем, меня очень мало заботило, как гэбисты сведут концы с концами. Это были их трудности.

Допрос утром 10 октября шел вполне традиционно. До часа дня. Потом гэбисты как-то странно забегали, словно петухи с отрубленной головой. Они задавали вопросы и забывали слушать ответы, противоречили собственным версиям – словом, впали в помешательство на наших глазах. И все время прислушивались, словно ждали марсианского десанта. То хамили, то заискивали. Я заикнулась про книги для научных занятий (из дома), а мне заметили со злобой, что не за что, я же им навстречу не иду. А потом возник монолог на тему: "Мы честные люди, мы защищаем страну. Нас оклеветали, никто нас не любит..." и т.д. И вдруг явился начальник следственного отдела полковник Яковлев и предложил мне свободу! В обмен на отказ от антигосударственной деятельности! Я расхохоталась, как гiena. Он сказал, что не ждал от меня другого ответа, но что есть решение сверху, которого они не понимают. Если бы их воля была, они никогда бы меня не освободили.

Но надо сесть и написать, как я к этому отношусь. Я поняла, что должна написать такое, что исключит саму возможность моей компрометации этим освобождением. Это было хуже Казани. Из-под следствия освобождали только смертельно больных, и то не всегда. Из Лефортова выходили не в лагерь или СПБ только предатели. У меня волосы дыбом встали от ужаса. Я написала, что являюсь убежденным врагом власти и строя, что буду продолжать антигосударственную деятельность, что считаю оправданными теракты против лидеров КПСС и руководства ГБ, что считаю полезной деятельность ЦРУ,



что не нуждаюсь в помиловании и сочту его за оскорбление. Словом, я топила себя как могла. Гэбисты сказали, что меня освободят только через их трупы. Их положение было понятно: они проглотили мясо и его вытаскивали обратно за веревочку. Но Яковлев пришел и сказал, что принято безумное решение меня освободить и при таком документе. Это был кошмар. Я сказала, что распространю новые листовки, но бедняги не имели права меня оставить у себя. Они пытались меня успокоить тем, что при таком заявлении в моей к ним вражде никто не усомнится, и просили пожалеть Игоря Царькова, потому что, если я еще что-нибудь устрою, пострадает и он, ведь у нас одно дело. На прощание Яковлев мне сказал: "Валерия Ильинична, не ломитесь вы так к нам. Если будете так стучать, то достучитесь рано или поздно". Он был пророком в нашем отечестве. В конце концов я достучалась, и даже два раза. Но сейчас меня выставляли за ворота. Я серьезно обдумывала, не надо ли мне покончить с собой, чтобы восстановить свою честь. Нельзя выходить из Лефортова. К сожалению, Игорь Царьков не выдержал перегрузок и, как многие диссиденты, написал "помиловку" с отказом от антигосударственной деятельности. Когда человеку вдруг предлагают свободу, он часто не выдерживает и ломается. Ведь Лефортово или лагерь – это могила. А здесь вдруг дается задешево воскресение, и нужно очень много стойкости, чтобы остаться лежать в могиле. Были даже постыдные случаи, когда одни диссиденты (уже вышедшие) уговаривали других, в зоне или в тюрьме, такую помиловку написать. Власть протягивала палец, а бедные загнанные интеллигенты бросались лобызать всю руку. Начиналось мерзкое время великого перестроечного перемирия между палачами и жертвами. Мы вдруг оказались в царствии небесном, где мать прощает убийце сына. Это царствие небесное – удел нищих духом. Евгения Гинзбург радовалась освобождению, в 70-е годы выходили без радости, но спокойно. Для меня же это была страшная беда. Уже вечером мы узнали от Ларисы Богораз, что распущена женская политзона в Мордовии, что Горбачев в Рейкьявике, что это не наша вина. Игорь Царьков пил холодное пиво, а я понимала, что начинается что-то страшное, и рыдала, глядя на Горбачева в телевизионном оформлении. Я понимала, что они придумали какую-то новую пакость. Я настаивала на немедленном выпуске листовок более жесткого характера. Но Игорь на это уже не пошел, а я не могла их изготовить одна. Никогда еще ни один путник так не стремился к отчужденному дому, как я стремилась обратно в Лефортово. Другие политзаключенные, большинство, продол-



жали сидеть. А нас выпустили. Значит, мы предали их, значит, мы изменили. Это была западня. Никто из друзей меня не понимал, но я знала, что если что-то "у них" похоже на Добро, то это будет такое Зло, что "царь Иван Васильевич во гробе содрогнется".

А следствие продолжалось. Амбулаторно, чего не бывало никогда: следствие по 70-й без содержания под стражей. Нас не вызывали. Допрашивали наше окружение. С допросов возвращались и докладывали о ходе следствия нам. Гэбистам явно было еще больше не по себе, чем мне. Одна злобная девица, Юлия, которой Царьков чем-то насолил, показала, что он желал победы гитлеровской Германии во второй мировой войне (по крайней мере, на территории СССР). Она сожгла весь наш доверенный ей Самиздат и фотопленки и вернула нам ящик пепла. За нами ходили тучами топтуны. Очень выручал верный Костя Пантуев. Он вообще перестал от меня отходить, совершенно не думая о последствиях. Он защищал гонимых. Русская интеллигенция, собиравшая деньги на вооруженное восстание в 1905 году и помогавшая народовольцам, воскресла в нем.

А вот студент Артем с Пресни после повторного вызова на допрос попросил меня ему не звонить и не компрометировать его далее, то есть порвал отношения со страху. Потом он опомнился. Но я не простила. Я знала, что должна сделать что-то, что покажет и докажет остальным политзаключенным в зонах, что мы их не предали и не собираемся пользоваться свободой, когда они сидят. На работе меня ощупывали: не верили, что можно оттуда вернуться, да еще со справкой, что я была три дня в Лефортовской тюрьме. И вот 30 октября, в День политзаключенного СССР, я повесила на работе на доске объявлений следующее сообщение: "Сегодня День политзаключенного СССР. Тех, кто хочет помочь советским политзаключенным или узнать подробнее о нарушении прав человека в СССР, прошу обращаться в отдел библиографии научной библиотеки, к Новодворской В.И.". Объявление сняли. Я повесила его еще раз. Его снова сняли. Я опять повесила. Сняли и отнесли к ректору. Я обошла все отделы и сделала объявление устно. Ректор профессор Ярыгин, автор атласа по патанатомии, не погнушался вы-



звать КГБ. Они приехали на двух черных "Волгах" и отвезли меня... не в Лефортово, а в о/м. Посадить они уже не могли. Но под занавес хотели взять свое и дать урок на будущее. Гэбист (как потом выяснилось, куратор Второго Меда) пытался договориться со мной любовно. Не вышло, и он вызвал психиатров. "Руководство приняло такое решение", – сказал он. Возвращая мне у дверей Лефортова паспорт, подполковник Мелехин сказал: "Мы с женщинами не воюем". Я ответила: "Я заставлю вас со мной воевать, как с мужчиной". И заставила! И в 1988 году, и в 1991-м... Но сейчас они наносили запрещенный удар. Какое злорадство, какая плотоядная улыбка озарили лицо куратора, когда санитары, выламывая мне руки, потащили меня из комнаты! На этот раз я попала в пыточное 28-е отделение. Я была там три недели, но этого мне хватило на всю жизнь. Игорь Царьков очень негодовал на мое нелояльное к ГБ поведение. Он боялся, что его посадят обратно в наказание за мою акцию, он читал мне нотации и очень волновался по поводу того, что теперь скажут в КГБ. И это тоже было страшно. Его сломали всерьез и надолго. Потом кость срослась, но при первой же перегрузке должна была сломаться уже окончательно, что и произошло в 1991 году. Я уже говорила, что я жесткий человек. Мне легче похоронить товарища, чем видеть его падение. Мне давали три раза в день трифтазин без корректора и быстро довели до нейролептического шока. Почему я его принимала? Отказ принимать таблетки влек за собой инъекции. Сопротивление им означало, что держать, связывать и раздевать тебя будут санитары-мужчины. После одного такого эксперимента я поняла, что, если это повторится, я не буду жить. От трифтазина началась дикая депрессия, полностью исчез аппетит, три недели я не ела. Я все время хотела спать, но спать не могла. Я не могла лежать, сидеть, ходить, стоять. Это был эффект галоперидола (трифтазин послабее, но, когда его много, это почти одно и то же).

Три недели непрерывной пытки запомнились острее и ужаснее, чем бормашина и кислород подкожно. Я не могла ни читать, ни писать. Почерк изменился до неузнаваемости, буквы не выводились. В памяти появились провалы. Чтобы хоть как-то отвлечься, я делала вместе с "психами" ручки на трудотерапии, но не могла долго сидеть. Со мной все было бы кончено, если бы друзья из 26-го отделения не отбили меня, не забрали бы к себе и не сняли бы американскими препаратами нейро-



лептический шок. В январе дело по 70-й закрыли (для того и освободили, чтобы закрыть). Я впервые увидела эту формулировку: "В связи с изменением обстановки в стране". Мы подали протест в прокуратуру (Царьков уже пришел в себя), заявляя, что обстановка в стране не изменилась, что никаких "клеветнических" материалов мы не распространяли, а все это была чистая правда. Игорь взял обратно свое октябрьское отречение. Но протест принят не был. И здесь я стала понимать (из намеков, полунамеков гэбистов, сопоставления фактов), почему я все еще была жива. Когда Маленький Принц Сент-Экзюпери прилетает на одну планету, судья предлагает ему судить старую крысу и говорит: "Нужно время от времени приговаривать ее к смертной казни. Но потом каждый раз придется ее миловать. Надо беречь старую крысу, ведь она у нас одна". Я была такой старой крысой!

Мои четкие тенденции к 70-й статье, идеи свержения власти, революции, изменения строя – все это было нужно V отделу КГБ. Как же защищать конституционный строй, если его никто не подрывает! Нельзя же вечно врать, что защита прав человека – это подрывная деятельность... Так вот почему я жива! Не потому, что я нужна была своему народу, а потому, что я нужна КГБ, для оправдания штатного расписания! В очередной раз смертный приговор был отменен.

Вот четверть бьют часы опять,
И руки снова стыннут.
Вот четверть бьют часы опять,
А смерть, чтоб нас с тобой забрать,
Дождется половины.



ЧАСТЬ 2.

*Странная
война*

«ОНА ЕЩЕ ОЧЕНЬ НЕСПЕТАЯ, ОНА ЗЕЛЕНА, КАК ТРАВА»



Когда на широком экране пошел фильм "Покаяние", я поняла, что от этой их перестроечной затеи можно покоряться: что-нибудь открытое организовать, и, пожалуй, сейчас люди на это пойдут. Партию с ходу организовать было нельзя, люди еще не оттаяли от всегдашнего привычного ужаса. На газету тогда бы никто не потянул: ни материально, ни технически, ни политически. Я решила, что роль коллективного организатора может сыграть семинар. Соберутся люди, будут слушать. Можно будет внести в их робкие души нечто антисоветское. Привыкнут, втянутся, перестанут бояться. Я нашла охотников отвечать за этот семинар. Из диссидентов на это пошли Мальва Ланда, Сквирский, Ася Лащивер. Загорелся этой идеей и Игорь Царьков. Крышей для семинара стала группа "Доверие". Официально она называлась "Группа за установление доверия между Западом и Востоком", хотя на самом деле она воспитывала в Востоке доверие к Западу, а вот в Западе как раз недоверие к Востоку. Группа была молодая, веселая, зубастая и по профилю зелено-пацифистская. Она уже успела попротестовать и против афганской войны, и против советской рекрутчины. В Москве ее лидерами были очень умная, злоязычная и совершенно несоветская Женя Дебрянская, Коля Храмов, чуть не заработавший 1901, и Саша Рубченко. В Питере верховодила блестящая Катя Подольцева. Женя и Катя потом мне рассказали, что после моего предложения они не спали ночь от ужаса, в предчувствии неминуемого ареста, но утром решили рискнуть. Я, конечно, была куда более советским человеком, чем "доверисты". Я была антисоветчиком, а это ближе к Советам, чем чисто несоветская европейская позиция "Доверия". Но то ли я их заразила своим пассионарным партийным подходом, то ли они хотели создать нечто более западное, чем народовольческое, но только мы поладили. Здесь мы обрели геолога и друга Сквирского, лохматого и бородатого энциклопедиста Диму Старикова. Фантазер и самый артистичный из диссидентов Петя Старчик тоже забрел на огонек. Из Союза инвалидов был делегирован Юрий Киселев (если бы не его инвалидность, сидеть бы ему по семидесятой). Кстати, статьи УК политического спектра никто еще не отменял, и организаторы



могли загреметь запросто. Под это они и давали свои имена. Чтения происходили раз в неделю на квартире у Жени Дебрянской. Когда-нибудь ей за это поставят в России памятник.

Набиралось до 80 человек; все они сидели на полу или матрасах в носках. В основном читала я, но помогал Дима Стариков. Примкнул к нам и наш меценат Юра Денисов. Читалась история СССР, России, история Самиздата, Сопротивления, Конституции (СССР и мира). Я думаю, что доводила своих слушателей до кондиции. Они тоже заражались. Это была эпидемия. В углу с магнитофоном сидел красивый, розовый, белокурый и голубоглазый Андрюша Грязнов из Вольного философского общества, в будущем одна из самых ярких фигур в ДС. Я успевала еще вести политический кружок для этого общества. Ребята были очень чистые и талантливые, но совсем еще в политике желторотые – до слез; например, Саша Элиович, будущий идеолог ДС. Когда перед Сашей и Андреем встал выбор: семинар (весьма компрометантный) или научная работа в режимных институтах (они как раз окончили МГУ), они выбрали семинар.

После каждой лекции по теме ее я писала открытое письмо. Под ним на семинаре собирались подписи, постепенно их становилось все больше. Потом письмо отсылалось в редакции газет, журналов, Верховный Совет и т.д.

Далее по письму делалась мною же листовка. Потом проводилась акция – открытая демонстрация. Вначале ходили на акции 10-11 человек, потом дошло до 30-40. Это было неслыханно по тем временам. Я могла сказать, как Фрэзи Грант: "Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу". Я создавала ядро будущей партии и ради этого даже немного наступала на горло собственной песне: что-то до поры до времени недоговаривала, чтобы дать людям время дорасти, чтобы их не испугать. Если бы я сразу начала с идеи свержения власти, все бы разбежались. Семинар заработал в апреле 1987 года. В июне состоялась наша первая акция. КСП, Клуб самодеятельной песни, собрался провести на Пушкинской акцию, приуроченную к 50-летию казни военачальников в 1937 году. Нас пригласили. Прослышав о том,



что придет этот жуткий семинар, КГБ поднял крик, и акцию запретили. КСП ушел в кусты, и мы вышли одни. Нас было 11 человек. На одиннадцать демонстрантов пришли 100 человек гэбистов (я их даже приняла за демонстрацию) и весь состав 108-го о/м. Сначала они не могли заставить нас уйти. Народ дивился, ГБ снимала, мы держали лозунги об освобождении политзаключенных. Потом они схватили Женю и Диму Старикова, и мы все пошли их отбивать в 108-е о/м. Отбили! Что с нами делать, Комитет еще не решил.

У подъезда Жениного дома стояли гэбистские машины, штук 10-15, целый таксопарк. Мы пытались угадать, у кого какая машина на хвосте. Мы выходили, и они начинали отъезжать. "Карету графа NN к подъезду!" Когда мы шли к метро, за нами шествовала плотная толпа (человек 20) топтунов. На пути к семинару они стояли вечером, как часовые, и указывали заблудившимся дорогу. Мы ходили не столько под Богом, сколько под топором. В июне состоялась наша презентация – пресс-конференция. Кроме западных корров, отважился прийти только мальчик из "Московских новостей". Это была первая публикация о семинаре в СССР, еще пристойная публикация, без приговора и отечественного фирменного лозунга: "Смерть врагам народа!". Но так писали аристократы духа из "МН". "Собеседнику" и "Вечерке" явно было мало бумаги и пера, им бы топор и плаху.

Заявку на акцию 7 октября мы подали только для того, чтобы была огласка и реклама в таком вот людоедском издании (в "Вечерней Москве"). А так плевали мы на их запрет. Семинар уже окреп, уже готов был пойти по шоссе Энтузиастов. Мы ловили их нашими заявками на крючок. Они аккуратно попадались, а люди читали эти заметки, мотали на ус и приходили посмотреть. К тому же к 7 октября сбежались все корреспонденты. Мы вышли на Кропоткинскую (те, кого не схватили заранее, как Сквирского и Старикова). Не успели мы развернуть лозунги, как гэбисты стали нас хватать и бросать в автобусы. Вся Кропоткинская была оцеплена милицией и гэбистами. Человек двадцать корреспондентов тщетно нас искали и наконец отважились спросить у генерала МВД, как найти демонстрацию.



- Ах, вам демонстрацию? – расвирепел генерал. – Сейчас вы к ней попадете.

Журналистов схватили и отвезли к нам в участок, где с нами "беседовали" шустрые мальчишки из райкомовских штатов, идеологи КПСС на уровне коллежских регистраторов, в том числе и будущий демократ Сергей Станкевич. Вокруг бегали генералы и полковники, а потом явились гэбисты и увезли нас с Царьковым на разных "Волгах" на свои конспиративные квартиры "беседовать за жизнь". Мне предъявили сразу два предупреждения, на все вкусы, по статье 70-й и статье 206-й (хулиганство). А потом один милый гэбульник сказал: "Если бы вы были честным человеком, Валерия Ильинична, вы бы сели и написали нам заявление, что диагноз у вас ложный, что вы здоровы и нормальны и готовы отвечать по закону. Тогда бы мы вам дали срок. Но небось струсите и не напишете". Я безумно обрадовалась и написала им такое заявление, после чего все мои дела с карательной медициной прекратились до 1991 года, когда от отчаяния по горбачевскому делу они тщетно попытались прибегнуть к этому варианту опять. Как видите, сам КГБ очень просто и по-деловому относился к своим подручным и подсобным психиатрам. Мавры сделали свое дело и удалились. Патентованный "сумасшедший" мог написать заявление о том, что он здоров, и на этом кончалась история его болезни. Одно этого факта хватило бы, чтобы доказать существование карательной психиатрии в СССР.

Великое дело было задумано на 7 ноября 1987 года. У меня была идея демонстрации на этот день, но это было слишком круто даже для семинаристов. Они сдрейфили. Это был срок на 90 процентов. Бедный Царьков даже сказал, что люди, мол, празднуют, и не надо им мешать! Отравлять праздничек... Оставшись одна, я решила хотя бы разбросать листовки. Дима Стариков решил пойти и быть свидетелем, хотя он был против акции. Но совсем бросить меня ему было стыдно. Боже мой, какое было обсуждение! Десять семинаристов стояли кружком перед Рижским, а двадцать гэбистов стояли кружком за нами, по двое на каждый объект, в пяти шагах, и ждали, чтобы разо-



брать и довести до дома. Нет, не только "польска"! "Еще русска не сгинела!" Диму схватили 7 ноября прямо у метро, меня тоже схватили, когда я вышла из дома, бросили в машину, отвезли на гэбистскую квартиру и выпустили в 18 часов. За мной шли два шпики (в трех шагах). А в кармане у меня были листовки. Большие мы расклеили. У меня осталась маленькая пачка в одном кармане, а в другом была пачечка таких текстов: "70 лет Октября = 40 лет террора + 30 лет застоя". Я лично крупно писала этот текст плакатным пером. В сумке лежал такой же лозунг и еще парочка не хуже. Когда тебя так жестко ведут, надо исхитряться. На мостике над перроном, что идет над "Комсомольской" (это самое пригодное для листовок место в метро) я бросила вниз первую пачку. Тут же меня схватили за руку мои гэбисты. "Извините, минуточку", – сказала я и бросила другой, свободной рукой вторую пачку. Меня поволокли в станционную комнату милиции, а ученый советский народ внизу расхватал листовки, сел в поезд и уехал. Осталось только несколько штук в лукошки моих гэбульников. В комнате милиции у меня отобрали сумку с лозунгами и стали фотографировать со вспышкой специальными камерами. Мои гэбисты звонили на Лубянку. Один говорил в телефон:

- Это произошло, мы не смогли предотвратить. Станция "Комсомольская". Ликвидируем последствия.

Когда привели и начали записывать свидетелей, мною стало овладевать знакомое каменное спокойствие. Я была уверена, что это арест. Тем паче, что один гэбист спросил:

- Сколько у нас политзаключенных, вы говорите? Четыреста? Теперь будет четыреста один.

Однако меня отпустили! Сработал эффект "старой крысы". Перестройке нужны были враги и экстремисты. Я еще поездила по эскалаторам с развернутым запасным лозунгом (он был за пазухой). Гэбисты плакали от изнеможения и бес-



сильного гнева крокодиловыми слезами. За листовки и постоянные демонстрации у меня на полгода отключили телефон. (С официальной формулировкой "За использование средства связи для антигосударственной деятельности", по решению КГБ.) У Царькова отключили тоже, и еще у нескольких активистов.



«АХ, НЕ ДОСАЖАЛИ, НЕ ДОЖАЛИ»



Я пишу не о тяготах и лишениях, а о радостях. Это были совершенно неопишуемые радости: впервые в жизни что-то получалось, и казалось, что на этот-то раз качество обязательно перейдет в количество и будет все, чего я поклялась добиться: массовый подъем народа, партия, революция, демократия. У меня не было диссидентских радостей, о которых пишет Амальрик. На его проводах на радостях побили два ящика бокалов из богемского стекла. Такого рода радости казались мне самым черным горем. Каждому свое. Я думаю, что диссиденты вздохнули с облегчением, когда я их оставила в покое и перестала донимать неуместными предложениями. Как люди воспитанные и порядочные, они сами не могли бы указать человеку, гонимому режимом, на дверь. И когда я захлопнула за собой дверь сама, они стали жить по-прежнему. Впрочем, страницы боевой славы кончались, и начинались страницы позора: примирения с режимом, который не пал на колени, не покаялся, не повесился, а просто соизволил помиловать невинных.

Для меня сахаровские аплодисменты после речи Горбачева в ходе знаменитой тусовки в Кремле, все эти рабы труды в МДГ вокруг двоечников-депутатов, которые в 30 или 40 лет впервые усваивали по складам азы демократии, как некие Маугли, воспитанные в неведении своего человеческого естества партийными волками из советских джунглей, прозвучали и высветились как зловеющая побудка Страшного суда, как зарево Судного дня. 27 декабря 1987 года на какой-то огромной диссидентской квартире состоялся правозащитный семинар Льва Тимофеева. Чуть ли не ползком до него добирались гонимые чехи, у них и "Огонек" (в это время), и "МН" в киосках не продавали, как крамолу. Меня поразили слова одного члена "Хартии-77", который в 1968 году был мальчишкой: "Мы сами во всем виноваты. Когда Дубчека сломали, мы должны были сказать, что нам не надо таких руководителей и что наша борьба продолжается. Надо было стрелять в советских оккупантов". Сергей Ковалев, уже сдавшийся, уже выбитый из седла (а его



пребывание в ВС – это уже загробное существование), не хотел давать мне слова для доклада – из-за моего радикализма. Но здесь благородно поступил Лев Тимофеев: он готов был уступить мне свое время, и по той же причине: из-за моего радикализма. Я говорила совсем не правозащитными стереотипами, я говорила о ликвидации строя. Какой ересью звучала моя речь даже в диссидентской среде! Мне не суждено забыть ужасный доклад Сергея Ковалева и Ларисы Богораз. Смысл его был ясен: не будем трогать власти, и они не расвирепеют, и не начнутся снова репрессии. Вместо четырехсот политзэков они назвали только двадцать "семидесятников", забыв об узниках ПБ, СПБ и 1901. Это были похороны Демократического движения. Причем при жизни! "Посмотрим, кто у чьих ботфорт в конце концов согнет свои колени". Колени согнули не коммунисты, а мои товарищи; будучи не диссидентом, а революционером, я все равно отвечаю за всю диссидентскую корпорацию. Какое счастье, что я могу здесь назвать не сдавшихся до конца, не писавших помиловки, не взявших ничего у грязных перестроечных лидеров. Это Мальва Ланда, Сергей Григорьянц, Ася Лащивер, Андрей Шилков, Кирилл Подрабинек, Пинхос Подрабинек, Петя Старчик, Александр Подрабинек, Володя Гершуни. Конечно, есть и еще, но этих я знаю лично. И самое горькое, но самое светлое – гибель Анатолия Марченко, который даже в Чистопольской тюрьме не сделался коллаборационистом, не поверил в перестройку, ничего не попросил, ничего не подписал, не согласился на выезд из СССР, а выбрал смерть в ходе своей последней голодовки за освобождение всех политзаключенных. Как мы пытались спасти Анатолия! Как мы кидались с нашими лозунгами на стены Лубянки! Отчаянный девиз семинара, его единственное требование к властям было: "Освободите политзаключенных или посадите нас". "Политзаключенных освободить мы не можем, – говорили гэбисты, хватая нас на акциях. – А вот вас посадим, но в свое время". Потом они еще сдержат слово, и слава Богу, потому что смерть Анатолия Марченко лишила меня права на жизнь в очередной раз. Я считаю, что он умер вместо меня. Освобождая, они произвольно выбирали каждого десятого, как в Бухенвальде перед расстрелом. Почему и за что они освободили меня, их злейшего врага, сгорающего от ненависти, и убили 48-летнего Анатолия, который провел 20 лет в тюрьме, причем начали когда-то они; ведь Толя был честен и добр, и никому не причинял зла, и даже не знал ненависти. Они когда-то бросили его безвинно в лагерь, сделали диссидентом, а потом убили. У него остался чудесный сын, Паша, и Толя хотел



жить, а я не хочу и даже не должна, как не должен жить вервольф – Разрушитель. Я не виновата в том, что им потребовалась срочно оппозиционная партия для создания образа врага или для дискредитации коммунизма, от которого им хотелось избавиться, а для этого я нужна была им живая. Почему Боря Митяшин в Питере появился через год или два после моего освобождения из Лефортова? Его посадили за несколько книг, за Самиздат! Один телевизионщик сказал: "Первыми освободили тех, кто включился бы в перестройку, кто стал бы заниматься политикой. А остальных, тех, кто просто хотел уехать или жить частной жизнью, оставили сидеть, ведь на свободе от них не было бы проку". Меня сделали соучастником подлого плана помимо моей воли. Я честно искала смерти и сейчас ее ищу, но только от руки врагов: я хочу попасть в Вальхаллу. А семинар совершал свой праздник непослушания. Мы ухитрились устраивать до шести демонстраций в месяц. Гэбисты ходили за нами по пятам и наступали на ноги, со мной они даже здоровались. Похоже, весь их московский штат был брошен на семинар. В ходу были превентивные аресты перед акциями. Это делалось так: вы выходите из дома, к вам лихо подкатывает машина, из нее выпрыгивают 3-4 добрых гэбистских молодца, хватают вас, силой втаскивают в машину, везут на свою конспиративную квартиру в отдаленный район. Там с вами встречается прокурор или офицер милиции, несет чушь (вроде того, что надо установить вашу личность). Держат три часа, потом отпускают. Иногда забирали всех участников акции. Москва была на осадном положении: 4-6 раз в месяц перекрывалась площадь (Лубянка, Пушкинская, Кропоткинская), стояли машины, гэбисты с рациями, милиция (чуть ли не полками). Народ дивился: то ли нашествие марсиан, то ли высадка американской морской пехоты. Тогда власти еще верили, что Слово – это Бог, что народ хлебом не корми, а дай только ему выйти за свободу на баррикады. Я предвидела, впрочем, что самое страшное начнется, когда власти оставят нас с народом наедине и не станут мешать свиданию. 30 октября один Игорь Царьков на трех поездах из Ленинграда добрался до площади, всех остальных взяли заранее. Он присел и попросил закурить у соседа по скамейке. Сосед достал рацию и сказал: "Идемте, Игорь Сергеевич". И тут подскочили трое... О, это был большой спорт! Мы не ночевали дома, отрывались от хвостов, уходили буквально по крышам. Мы честно напрашивались на срок. На одном свидании в Моссовете куратор МГУ от КГБ, главный идеолог МГК КПСС, холеный гестаповец, сказал нам: "Вы, конечно, люди честные, но вредные."



Не обессудьте, если мы вас посадим". Мы приспособились поднимать свои лозунги по отдельности, после того как "захватчики" нас отпускали, у любого метро. КГБ приспособился тоже: нас стали катать 2-3 часа, потом три часа задержания, потом жесткий конвой из топтунов в двух шагах, или отвозили прямо домой. По дороге я обычно пыталась выбить стекло или вырвать руль, поэтому меня держали всю дорогу на заднем сиденье с заломленными руками, время от времени применяя малоприятные болевые приемы, чтобы я выключилась хотя бы на полчаса. Гэбисты попадались иногда очень глупые и убогие, а иногда умные и начитанные. Первые желали нам поскорее сдохнуть, а вторые вели светские беседы и говорили, что жалеют нас всей душой, но у них работа такая. О, незабвенный 1987 год!

Однажды из 108-го о/м они меня отвезли домой и сказали, что отныне мне разрешено ходить только на работу и в продуктовые магазины. И, если я отклонюсь от этого маршрута, меня будут арестовывать. Что они назавтра и проделали, когда я просто собралась в кино, кажется, в "Рекорд". Меня ободрали о ступеньку машины до крови, но когда привезли куда-то в Кузьминки, после четырех часов катания (а я хотела посмотреть "Ганди"!), я была такая злая, что побросала в гэбиста все, что нашла в комнате о/м: календари, расписания в рамке, пресс-папье, чернильницу, ручки. Он все ловил, как чемпион. Наконец, израсходовав все казенные предметы, я кинула в него свое личное яблоко. Он его поймал и съел! И еще заявил, что он не любит гольден, что в следующий раз мне надо захватить ему антоновку. Тогда я плюнула ему в лицо, он свалил меня с ног мощным боксерским ударом, а я объявила бессрочную голодовку до прекращения беспредметных арестов. Я ничего не ела неделю, и гэбисты прекратили свои излишества: брали снова только в дни акций. Оказалось, что Моська вполне может довести Слона. Все рекорды побил Ася Лащивер, которая после одного задержания пришла к Пушкину в двенадцать ночи и надела на себя сшитую простыню с правозащитным текстом на груди и на спине. Представьте себе: ночь. Площадь. Фонарь. Снег идет. Ни души. Один гэбист дежурит. И Ася стоит в саване. Картинка с выставки! Когда ее взяли, то в отделение даже вызвали психиатра. Но он сказал, что от этого не лечит, и уехал. Мы захлебывались своей свободой в стоящей на коленях стране. А



теперь они кусали себе локти. "Ах, не досажали, не дожали, не догнули, не доупекли!" И мы их толкнули-таки на крайность.



«СТУЧИТЕ, И ВАМ ОТКРОЮТ»



В январе 1988 года я выходила из своей поликлиники, закрыв больничный после очередной пневмонии. От "Волги", стоявшей у крылечка, отделился молодой человек в норковой шапке и ласково мне сказал: "А вас, Валерия Ильинична, с нетерпением в следственном отделе московского ГБ дожидаются" – и протянул повестку. Я чуть не свалилась в сугроб от неожиданности; я меньше бы удивилась, увидев тень отца Гамлета. Одновременно они вызывали Царькова, и я не решилась оставить его с ними наедине, поэтому пошла – и не прогадала. Встретившись с Царьковым у витрины гастронома S40, мы от большого ума вычислили, что нам хотят вернуть конфискованные в 1986 году книги. Но едва мы переступили "знакомый и родной" лубянский порог (в первый раз без конвоя), как нас разобрали по кабинетам. Мне достался майор (стал им на нашем деле 1986 года) Владимир Евгеньевич Гладков, знаменитый тем, что совсем уж ни за что (если было хоть что-то, давали срок) отправил в ссылку (после Лефортова!) маленькую девочку Леночку Санникову, уже в 80-е годы. Только за помощь политзаключенным (моя расписка-доверенность на подписание правозащитных писем была найдена у нее и послужила "уликой"). Леночка была так молода и так беззащитна, что ее пожалел бы и Серый Волк. Но не Гладков! Этот не пожалел бы и Дюймовочку. Впрочем, ссылка была единственной известной КГБ формой оправдания (отпускали предателей или смертельно больных – таких, как Лина Туманова, которая так и умерла от рака под судом; если бы она вдруг поправилась, ее бы опять посадили. Или отпускали при очередных своих перестройках, но это уже другой вопрос). Здесь же, в кабинете, оказался Владимир Леонидович Голубев, прокурор по надзору за КГБ. Никогда не понимала, как они ухитрялись надзирать за этой организацией, которой боялись смертельно; скорее, это она надзирала за прокуратурой. И эта парочка, Голубев и Гладков, хлопнула мне на стол бумаженцию о возобновлении дела по 70-й статье; того самого дела, которое они же закрыли год назад! Но ожидаемого эффекта не вышло, потому что я иронически спросила: "Что, перестройка уже закончена? Не вынесла душа поэта?" – и выразила живейшее удовольствие, а Царьков у своего майора



просто и неформально стал выяснять, не офонарели ли они часом. Я своей паре заметила, что уже абсолютно не помню детали насчет листовок 1986 года, но они меня обнадежили, что будут заниматься не прошлым, а настоящим, то есть деятельностью семинара. Прокурор Голубев сказал, что они раскаялись в своей опрометчивости; даже если закрыть все дела в стране, то мое надо было бы оставить. Я горячо одобрила эту идею, что весьма обескуражило моих собеседников. Намерения свои они не скрывали, они были прозрачны, как слюда: сначала мы с Царьковым, а потом и весь семинар.

Теперь я поняла, зачем МВД аккуратно забирало наши листовки и лозунги: все они оказались здесь, в КГБ, аккуратно подшитые к протоколам, в папках с ботиночными тесемками.

Гладков мне поведал, что поднял из архива мое дело 1969-1970 годов и пришел к убеждению, что я симулировала душевную болезнь, обманув врачей из института Сербского, дабы уйти от наказания. (Это СПб-то – уход!) Я поняла, что КГБ будет отрешиваться от карательной психиатрии весьма своеобразным способом, за счет жертв, перекладывая ответственность с больной головы на здоровую.

Далее Гладков заявил, что я нормальный враг, и если ему и жаль посылать в тюрьму способного инженера и перспективного для народного хозяйства ученого Царькова, то мне в тюрьме самое место.

На вопрос: "Покажите, почему вы продолжаете заниматься подрывной антисоветской деятельностью, несмотря на ваше помилование в 1987 году?" – я столь же пунктуально ответила: "Занималась, занимаюсь и буду заниматься, ибо подрыв основ преступного советского строя – гражданский долг каждого честного человека, и я буду подрывать эти гнилые основы, пока ваш проклятый строй не падет". Это мне пришлось самой вписывать в протокол, так как Гладков отказался, уверяя меня,



что если он это лично напишет, то станет соучастником моих преступлений. Видно, в этот первый день мы достаточно ярко продемонстрировали игнорирование и непризнание всяческих властей, устоев и основ. Следователь Царькова после ликбеза, проведенного Игорем, сказал, что уже сам не понимает, зачем он состоит в КПСС, и лучше он пойдет и перечитает устав партии. А дальше – самое интересное. В Лефортово нас не повезли; Gladkov сказал, что экономит силы; что ему выгоднее, чтобы мы к нему ездили, а не он к нам; к тому же ему неохота заботиться о наших передачах, одежде и родственниках.

Тогда я предложила ему работать на бригадном под-
ряде: днем мы будем заниматься антисоветской деятельностью, а он вечером будет анализировать ее результаты. Он напишет диссертацию по деятельности семинара, а следствие не кончится никогда, так же как и деятельность подследственных; приговор же вынесет история.

И это была не шутка! На той неделе мы устроили три акции, прося МВД тут же сообщать следователю, ибо его это порадует. Несчастный Gladkov бегал по ночной Москве и подбирал в отделениях и опорных пунктах улики преступлений. На второй допрос Царьков не пошел вообще (сдавал экзамены на инженерном факультете мехмата, некогда было), а меня на допрос привели гэбисты прямо с акции, потому что четвертая акция совпала с допросом день в день. Допрос предполагался в три. Это был сюжет из "Одиссеи капитана Блада": в 15.00 мы проводили акцию против карательной медицины как раз на Лубянке. Я стояла с очень злым лозунгом у "Детского мира". Вдруг ко мне подбежали три гэбиста, очень растерянные: "Валерия Ильинична, что же вы делаете? Вы же под следствием! У вас допрос в 15.00!" Я им спокойно объяснила, что на допрос я успею, вот постою полчаса, и пойдем. Когда у них перестали дрожать руки, они затащили меня в машину. Ехать было недалеко. Gladkov встречал нас на лестнице. Я шла впереди, за мной гэбисты несли мой лозунг и неизрасходованные листовки. Я стала извиняться перед Gladkovым: "Вы уж простите меня, Владимир Евгеньевич, я не хотела приходить раньше времени, я знаю, что у нас с вами встреча через полчаса. Я не так воспитана, чтобы приходить раньше времени на любовное свидание.



Но эти молодые люди, манкируя уважением к вашему распорядку, приволокли меня сюда силой. Надеюсь, вы накажете их". У следователя Гладкова дрожали руки и губы. Когда мы дошли до его кабинета, он, растеряв весь юмор, сказал, что будет просить об изменении мне меры пресечения, потому что так работать невозможно. Однако к середине допроса он оттаял и даже принес мне чай. Соседний гэбульник пожертвовал сэндвич, заверив меня в своем самом теплом ко мне отношении. Вытаскивая коробку с рижским печеньем, Гладков с тонкой иронией произнес:

- Угощайтесь, Валерия Ильинична, пока вашими стараниями Прибалтика совсем от нас не отделилась.

Он мужественно вынес все обычные издевательства, которые приходится на долю тех, кто пытается меня допрашивать. А в конце свидания даже объяснился мне в любви. Это был самый приятный комплимент из всех, что я услышала за свою жизнь. Я спросила у Гладкова, не потому ли он сразу нас не арестовал, что хотел грозить тюрьмой на каждом допросе, продлевая себе удовольствие и расшатывая нашу волю, что, впрочем, напрасно. И он мне ответил:

- Нет, Валерия Ильинична, я не настолько наивен. Я знаю, что тюрьмы вы не боитесь. Вы не боитесь вообще ничего. У государства не осталось средств воздействия на вас. У вас отличные способности, вы талантливы, но ваши таланты направлены на зло, а не на службу государству. Уехать вы не хотите. Я не вижу выхода ни для вас, ни для нас.

Через неделю КГБ закрыл дело опять. Наша воля к смерти была так велика, что враги ощутили нашу неуязвимость и не стали усугублять арестом свое поражение. Тем более что арестовать 20-30 человек в Москве они уже не могли себе позволить. Но здесь мы состряпали сатирическое заявление по поводу следствия, собрали подписи и сдали в КГБ. Несчастные



дежурные по приемной взяли его с опаской, как змею, и еще
выдали мне расписку!



«НО ЛУЧШЕ ТАК, ЧЕМ ОТ ВОДКИ И ОТ ПРОСТУД»



А между тем переменка кончалась. "Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд". Маленький безоружный семинар вызывал у властей не менее сильное раздражение, чем христианские мученики у римских императоров. 23 февраля мы собрались на демонстрацию антиармейского характера. "Несокрушимая и легендарная" у нас вызывала плохо скрытую гадливость, и это как минимум. Мы распространили соответствующие листовки и собрали для митинга все пацифистские силы Москвы. Некоторых участников семинара накануне вызывали в милицию и предоставляли гэбистам. Гэбисты же наказывали передать мне, что, если мы выйдем на Пушкинскую 23 февраля, арест по 70-й статье нам обеспечен. Якобы Министерство обороны в слезах обратилось в КГБ и потребовало убрать семинар, потому что если он продолжит свою подрывную деятельность, то они не смогут обеспечить обороноспособность страны. Нам это все очень понравилось. Разгон 23 февраля был самым впечатляющим. Забрали даже какого-то шутника с плакатом "Пейте соки и воды". Женю Дебрянскую при задержании ударили кулаком в лицо. Меня били головой об машину, а в машине бросили на железный пол и били об него. Впрочем, при шубе и шапке я вышла из этой переделки слегка оципанная, но вполне живая. После этой акции (а мы ухитрились остановить движение; задержали милиционеры и ГБ около 70 человек, и многие прохожие пытались защитить избиваемых демонстрантов, особенно девушек) в ЦК КПСС состоялось особое совещание по поводу семинара. Было решено судить сначала по 166-й статье административного кодекса (неразрешенное мероприятие, штраф до 30 рублей). Так что в конце февраля нас уже потащили в суд. На первый раз дали штрафы. Суд был Фрунзенский, и мы его "обновили". Зал был полон подсудимых, пока пришедших на своих ногах и своим ходом. Поскольку это был первый политический суд перестройки, нас почтили своим присутствием диссиденты. Сзади сидели гэби-



сты и следили за порядком в судопроизводстве. Судья Митюшин настолько испугался наших дерзких ответов и хулы на советскую власть, которую мы ухитрялись вставлять даже в анкетные данные, что заявил: "Не буду я судить этих антисоветчиков" – и ушел в свою комнату на два часа. Еле-еле его оттуда извлекли гэбисты и заставили отработать жалованье.

А семинар нашел союзников в лице части клуба "Демократическая перестройка" ("Пердем"). Эти радикалы ушли оттуда, не выдержав конформизма своих коллег, и создали свою радикальную группировку. Непосредственно с нами общались Виктор Кузин и Юрий Скубко, блестяще образованные и одаренные молодые люди, способные украсить собой как Конвент, так и парламент любой западной демократии. Они были не либералами, как большинство семинаристов, а социал-демократами. Но мы с ними сошлись на том, что если социализм с человеческим лицом невозможен, то тогда и капитализм сойдет. Идея политической партии уже принималась благосклонно. Как всегда, власти активно помогали. 5 марта они разогнали наш комплексный митинг на Октябрьской площади, митинг антисталинский, но с идеологической агрессией в адрес всей системы и всего периода с 1917 по 1988 год. Семинар ГБ числила в "пропащих", а на "Радикальной перестройке" еще не поставила крест в смысле ее исправления. Поэтому они дифференцировали кары, что подействовало как раз наоборот. Если после акции 23 февраля разрешили судить и штрафовать, то сразу же выяснилось, что этого недостаточно. Поэтому после акции 5 марта разрешили сажать по 165-й статье того же административного кодекса ("неповиновение"). Тебе сказали: "Разойдись!" Ты не разошелся. Вот и 165-я статья. Сплав из семинара с "Радикальной перестройкой" надо было погрузить в горнило. ГБ и погрузила. Первыми свои пятнадцать суток схлопотали члены группы "Эмиграция для всех". Нас должны были судить позже. Попасть за решетку стало делом чести. На руках у нас уже был мой проект "Программа либерально-демократической партии". Она была даже более антисоветская,



чем последующие документы ДС. Конечно, мой документ никак не соотносился с последующими текстами Жириновского.

Во время суда над Игорем Царьковым судья прочитал ее (мы же сами с ним и поделились!) и спросил (под текстом стояла моя подпись): "Скажите, Игорь Сергеевич, вы помогли Новодворской писать эту программу?" "Да!" – гордо ответил Царьков. "В таком случае пятнадцать суток", – заключил судья. На меня этот же судья составил определение о возбуждении уголовного дела и направил в прокуратуру. Я 5 марта дала пощечину гэбисту, руководившему разгоном, и еще ухитрилась бросить листовки из окна автобуса. Бели бы я отнекивалась, возможно, дело бы и пошло. Но я твердила, что оскорбила его сознательно и хотела в его лице оскорбить именно преступную власть. Поэтому не сработало. Во многих отношениях семинар, а потом ДС ломали биологический стереотип поведения зайца и волка. Заяц должен убегать, а волк догонять. Мы же отказывались убегать, мы просто бросались на волка, чего зайцу по штату не положено. Часто волк от неожиданности пускался сам наутек. Или у него пропадал аппетит.

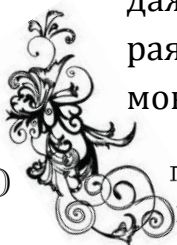
До решения вопроса с уголовным делом я успела швырнуть с Женей Дебрянской невероятное количество листовок с балкона кинотеатра "Россия". Причем за нами ходили по пятам. Моей головой пересчитали все ступеньки лестницы, ведущей в фойе. Гэбисты очень расвирепели. Мы с Женей так дружно и весело сопротивлялись наряду из 108-го о/м, что им пришлось прислать еще пять человек. Сеанс мы сорвали на час, потому что зрители выскочили из зала с пригоршнями листовок и стали нас защищать. 165-я была обеспечена. Меня потом администрация "России" просила почаще приходить с листовками, потому что их кинотеатр приобрел после нашей акции невиданную популярность. На завтра от судьи Одиноквой из Фрунзенского суда я получила свои первые пятнадцать суток, а Женя Дебрянская – первую тысячу рублей штрафа из многих и



многих, которые суждено ей было заработать в ближайшее время.

Члены "Радикальной перестройки", получившие штрафы по 20 и 30 рублей за те же деяния, что нам стоили арестов, были смертельно оскорблены. Это были люди чести, и они решили доказать ГБ, что и социал-демократы могут быть для них опасны. В тюрьме мне стало ясно, что в несчастной стране либералов не хватит даже на одну маленькую партию, зато можно попытаться создать партию широкого демократического профиля, общий дом под звездным небом, где будут согласно обитать либералы, эсдеки, эсеры, евро-коммунисты, монархисты, социалисты. Такое Учредительное собрание на марше. Некий партизанский отряд времен второй мировой в Арденнах, где голлисты на несколько лет стали товарищами коммунистов. Собрать настоящих нонконформистов и радикалов широкого профиля и бросить их, как перчатку, в лицо режиму. Нам говорили, что при таком политическом разбросе ДС будет нежизнеспособен, нам и сейчас еще это говорят. А ребенку уже почти пять лет... Название было придумано до рождения. Когда мы с Царьковым, полуживые после 15-дневной голодовки, отчасти сухой, вышли на свободу, Юрий Денисов уже подготовил все для заседания потенциального оргкомитета. Сейчас, когда я вспоминаю это заседание, я понимаю, что все висело на волоске. А в комнате собралось просто бриллиантовое созвездие. Еще одним вкладом "Радикальной перестройки" были наш Цицерон и энциклопедист (пять языков и куча всего прочего) Александр Лукашев, убитый два года назад (и есть основания предполагать, что не без помощи КГБ); Юрий Митюнов, журналист-международник; Валентин Елисеенко, рафинированный эстет и плюс к этому юрист.

Вначале были большие колебания, один из участников даже заявил, что надо сначала выяснить, нужна ли народу вторая партия. Здесь я сразу вспомнила строки из Марины Кудиновой: "Быть может, народ кабак предпочтет и скажет, что да-



ром не надо нам ни Гегеля с Кантом, ни барышни с бантом, ни даже строения атома". "Большое, чистое и настоящее" дело могли заболтать, как у нас, интеллигентов, водится, еще в зародыше. Я произнесла пламенную речь на два часа. Не помню уже, о чем, но, видно, в этом был некий гипноз. До этой речи в комнате было одиннадцать просвещенных интеллигентов, настроенных демократически. После нее это уже был Оргкомитет I съезда ДС. Для меня это был вопрос жизни и смерти всех двадцати предшествующих лет. Наверное, страсть имеет некоторую власть над людьми. Отныне мы становились товарищами, "партайгеноссен", и это было сладко, вопреки большевистскому и германскому "проколам".

Мы распределили работу и в ударном стахановском порядке за две недели подготовили пакет документов. Мы с Сашей Лукашевым делали Декларацию и политические разделы (конституционная реформа и политическая система), причем я тянула в сторону Штатов, а Саша – в сторону Швеции. Экономике мы предоставили Юре Скубко, и он одарил страну правом на частную собственность на средства производства и многоукладной рыночной экономикой. "Сельское хозяйство" не хотел писать никто, и оно досталось Диме Старикову, который хотя бы видел поля вблизи на своих геологических маршрутах. Сельскохозяйственная программа получилась скорее кадетской, чем эсеровской, потому что включала в себя фермерское хозяйство и выход из колхозов с землей и инвентарем. Правда, мне не удалось протащить "частную собственность на землю с правом продажи".

Пока это была "бессрочная аренда без права продажи". О том, что нашей целью является изменение общественного строя, было написано несколько раз (для слабоумных) открытым текстом. В области политической мы с Лукашевым закрепили парламентаризм, многопартийность, закопали все Советские Конституции, я попыталась еще повыкидывать все Советы, но их, увы, тогда еще оставили.



Мы, либералы, ели поедом социал-демократов, и, поскольку наш напор был не западным, а чисто большевистским, мы многое отвоевали. Социал-демократы были гораздо воспитаннее и терпимее нас. Когда я читала окончательный вариант Декларации, Юра Скубко вытирал глаза и говорил: "Для истории пишем, для истории". Мы все чувствовали себя немножко Пророками. К концу первой недели без партии не только я, но уже и все остальные члены Оргкомитета жить не могли. В военной сфере мы декларировали профессиональную армию и на время перехода – альтернативную службу. В области внешней политики мы расформировали Варшавский блок, сократили односторонне вооружения, порвали с Кубой, Китаем и Кореей. С СССР мы расправились, как повар с картошкой. Назвали Балтию оккупированной, вывели отовсюду свои войска, предоставили всем реальное право выхода из СССР, для оставшихся рекомендовали конфедерацию.

Мне и Жене Дебрянской, как главным западникам (нам в либерализме сопутствовали Юра Денисов, Игорь Царьков, Роальд Мухамедьяров и отчасти Скубко), этого было мало, но пока пришлось этим довольствоваться. Мы отменили смертную казнь, распустили КГБ, отменили сексотство и кучу статей УК. Многие не выполнено правительством и поныне. Программа имела еще и научно-разъяснительную часть насчет нашего прошлого и настоящего, то есть это был просто типичный антигосударственный трактат, целиком подпадавший под тогдашнюю 70-ю статью. Все на нас смотрели с плохо скрытым испугом, словно говоря: "Эх, забубенные ваши головушки! Сгинете, и никто косточек ваших не сыщет". Даже диссиденты, кроме Пети Старчика и Сергея Григорьянца, были шокированы нашим радикализмом. Татьяна Великанова, вернувшись из ссылки, которой предшествовал срок, прочитала документы и спросила, зачем такая конфронтация с властью. Я до сих пор не поняла, как мог задать подобный вопрос человек, претерпев-



ший от этой власти такие страдания. ДС же закусил удила и оборвал все путы еще до съезда.

Программа была целым подарочным набором для страны, а власти просто обязаны были нас вязать. Мы же готовы были не дожить до съезда, но не уступить ни одной буквы. Когда мы кончили, документы сразу же развезли по городам наши эмиссары с приглашением к разделяющим все это приехать на съезд. Мы с Лукашевым и Женей Дебрянской лично прогуляли наши документы в Питере. Многие думали, что от создания оппозиционной партии наступит прямо-таки конец света. На одной неформальной питерской встрече какой-то юноша заявил, что после создания такой партии какой-нибудь пилот поднимется над ближайшей к Ленинграду АЭС и сбросит на нее бомбу. Если бы мы написали, что будем взрывать Кремль, и то окружающие не были бы так скандализированы. А когда у меня спросили, уж не антиконституционную ли организацию мы создаем, и я бестрепетно ответила: "Да", то мне просто не хотели верить.

За два дня до съезда прокуратура развила бешеную деятельность и попыталась вызвать всех членов Оргкомитета. К ним никто не пошел. Мы их не видели в упор. Тогда они попытались посетить нас на дому. Их не пустили. Ко мне они явились прямо на работу, выгнали из отдела моих коллег, заперли двери и потребовали подписать некий бланк загадочного предупреждения о том, что "съезд антигосударственной партии будет иметь для организаторов непредсказуемые последствия". Устно мне объяснили, что они даже не знают, по какой статье нас будут судить; скорее всего, по 64-й (государственная измена). Я расхохоталась им в лицо и послала их додумывать этот вопрос, который, впрочем, имел интерес только для них. На отдельном листе я им написала, что несу всю ответственность и за создание партии, и за ее программу, а на государство и его мнение, а также на весь набор карательных мер мне наплевать. "Расстреливать вас надо!" – бросил прокурор, и они удалились.



«ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОРДЫМ, КАК ЗНАМЯ»



Первый съезд ДС был очень живописен. Действующие лица и исполнители: Оргкомитет, полный суровой решимости создать партию хоть из кварков; делегаты, на 50 процентов (то есть 50 человек) не желающие вступать ни в партию, ни в тайное общество, а приехавшие потусоваться; гэбисты, целая рота в количестве трехсот человек, плюс вся наличная милиция района.

День первый прошел в жанре мистерии. На лестницах тучи гэбистов, которые ломятся в квартиру и перерезают телефонные провода! В квартире делегаты стоят (сесть негде), набившись в комнате и коридоре, как кильки в банке, со свечами в руках. Корреспондент "Московской правды" почти что в аквариуме с золотыми рыбками! Ораторы на стуле! Явление Жириновского с такой речью: "Ребята, так дело не пойдет. За такую программу нас повяжут коммунисты по 70-й статье. Давайте лучше напишем, что мы их поддерживаем, а потом вонзим им в спину нож!" Жириновского гонят, но выход из квартиры закупорен гэбистами. Мое финальное слово: "Сегодня мы зажгли в СССР свечу, которой им не погасить никогда". И впрямь в ДС все признаки искомого вечного двигателя.

День второй. Детектив. Гэбисты врываются на секции и вытаскивают из квартиры политсекции всех иногородних делегатов. Обвинив их почему-то в проституции (в основном мужчин), насильственно депортируют по домам за счет V отдела. Мартин Уокер, английский журналист, грудью прикрывает Оргсекцию. Юрий Митюнов бьет гэбистов костью.



День третий. Сельская пастораль. Кратово. Дача Сергея Григорьянца, пригласившего съезд к себе в "Гласность" (в большой амбар). Дача разгромлена ГБ, оборудование увезли, Григорьянца и его ребят посадили на 5-7 суток. Гэбульники летают, как майские жуки (а это 9 мая 1988 года). Милиции больше, чем одуванчиков. Говорят, что в лес идти нельзя, он народный (общенародный), а на полянку заявление подают за 10 дней. Съезд идет 30 минут в поссовете, остальное время на платформе. Конформистские поправки не прошли, документы приняты с "добавкой". ДС со своими пятьюдесятью членами назван партией. Жириновский хочет баллотироваться в руководство партии, но не хочет вступать в саму партию. Ему объясняют, что этого нельзя. Обиженный, он уходит в лес.

Съезд кончается пикником на Пушкинской площади. Листовки и митинг в защиту политзэков, Григорьянца и делегатов – на первое; разгон, арест и побои – на второе.



НАШ СОБСТВЕННЫЙ ДРАКОН



Один смиренный персонаж Шварца, архивариус Шарлемань, говорит: "Есть только один способ избавиться от дракона: завести своего собственного". Это и есть перестройка: консенсус с собственным драконом, отказ не только от Сопротивления, но и от ненависти поработанных. Перестройка – это общее дело дракона и его "населения" на добровольческой основе благодарности и любви. Шварц писал пьесу в сталинские времена, но напиши он ее сегодня, она вышла бы еще мрачнее. Сегодня это выглядело бы так: дракон заявляет, что у него нет ни хвоста, ни когтей, ни чешуи, что он всю жизнь мечтал о перестройке и пишет книжки о гласности и новом мышлении. А народ любит дракона. И Эльза добровольно идет с ним под венец. Что делать в такой ситуации Ланселоту? Только удавиться на семи осинах. Дээсовцы – немножко Иваны Карамазовы. Все мы отказываемся от своего билета в царствие земное, где жертва обнимается с палачом перед телекамерами и ест именнинный торт, увенчанный их вензелями, на специальном банкете. О, незабвенный Набоков! Перестройку он, что ли, предчувствовал, когда писал "Приглашение на казнь"? ДС был создан для того, чтобы сказать президентам из КПСС, Ельцину, Кравчуку, Бразаускасу: "Не будет вам ни национального, ни интернационального примирения". "И мне тогда хотелось быть врагом". Мне всегда хотелось быть врагом! За тысячелетие у нас не было достойной, порядочной власти... ДС был призван стать школой врагов власти. А перестройка, может быть, и была задумана для того, чтобы у власти не осталось врагов. Власть говорила мне, как Порфирий Петрович Раскольникову: "А вы знаете, какая вам за это воспоследует сбавка?" Надо было только замолчать. А я ответила, и тоже как Родион: "Не надо мне совсем вашей сбавки!" Но мы в ДС пошли дальше Родиона. Мы рубили своим топором прошедшее и настоящее, ветераны войны и труда летели как щепки, но в нас не было жалости, ибо право отнять ложь и дать жестокую правду абсолютно. От нас, не вы-



неся горя, тоски и разочарования, утопятся сотни Офелий, на нашей совести тысячи процентщиц и Лизавет. Это наш топор разрубил СССР. Пролившаяся в результате кровь – на нас. Но я не леди Макбет, я не стану ее смывать, я перенесу все это с поднятой головой. Вы ищете виноватых? Я отвечу за все. ДС ответит за все.

Некогда я мечтала, что народ сломает свою клетку. Был ли шанс? Теперь мне кажется, что не было. У чехов и поляков лед тронулся, когда стало мягче в СССР, когда позволили. А до этого их прочно держала в своих объятиях ледяная зима. Чехи не прошли сквозь огонь в 1968 году, венгры – в 1956-м. А я мечтала о народе, который нельзя покорить живым, который можно взять только мертвым. Потому я так боготворю Чеченскую республику и Джохара Дудаева. Они последние из могикан.

Перестройка – это когда народу открывают клетку, а он не выходит; это согласие на пожизненную прописку в лагерьном бараке из-за боязни волн. "Вот и нету оков – а к свободе народ не готов, много песен и слов, но народ не готов для свободы". Это и есть поющая революция, получаемая "на халяву". Все подлинное оплачивается кровью, а суррогат приобретается за слова. Перестройка сломала диссидентов. Одних посадила за тот вышеупомянутый торт, других сделала шутами, как несчастного Льва Убожко, который много выстрадал в 70-е годы, а потом не выдержал испытания безопасностью и известностью. Утратив всякий моральный уровень, он был исключен из ДС за предательство, за подметные письма против своих товарищей в советской прессе и даже не понял всей глубины своего падения и продолжает со мной здороваться, как ни в чем не бывало; он создает кучу опереточных партий, участвуя в гонке за властью, претендуя на президентский пост, валяя всюду дурака и разыгрывая на советских подмостках злую и жуткую пародию на диссидентское движение. Не страшен Убожко: страшно убожество.



Конечно, Горбачев вправе винить меня в неблагодарности: без этой перестройки я бы давно погибла под инквизиторскими пытками в спецтюрьме. Это, конечно, не страшно, но перед смертью пришлось бы утратить разум и превратиться в животное. Однако я не могу благодарить. Мне бросили жизнь, как плевок. А кому-то не досталось барской милости (права на свою собственную жизнь). Например, Анатолию Марченко. Не они каялись перед нами – они снисходили до помилования "этих проклятых экстремистов". Неужели у выпущенных узников совести такая милость не застряла в горле? Мне ее никак не проглотить. Нужно так давать, чтобы можно было брать. А они так давали ДС зеленый карандаш, что мы предпочли листики на деревьях сделать синими. И вообще, я не люблю, "когда маляр презренный мне пачкает мадонну Рафаэля" или когда секретарь обкома вдруг становится пламенным поклонником демократии. Кесарю – кесарево, Божие – Богу, а партаппаратчику – партаппаратчиково.



КТО СМЕЕТ ОБИЖАТЬ СИРОТУ?



Наше знакомство с Борисом Николаевичем Ельциным состоялось в тот момент, когда такая организация, как ДС, только и могла заинтересоваться судьбой первого секретаря МГК КПСС: на Пленуме, где его топтали, травили и готовы были стереть с лица земли, совсем как в 1937 году. Мы сочли себя обязанными защитить бедного гонимого коммуниста, ведь мы были защитниками политических сирот и вдов. Пожалев бедного Ельцина, мы стали готовиться к демонстрации в его защиту. Защитить гонимого врага – это было вполне в нашем вкусе. Заодно мы собирались достать адрес Ельцина, пойти к нему, утешить, подарить торт и цветы, посоветовать выйти из КПСС и вступить в ДС, во фракцию демкоммунистов. Можно себе представить, какой восторг у Бориса Николаевича вызвали бы наша защита и наши предложения! Но мы не успели ничего сделать. Борис Николаевич "разоружился перед партией". Он так валялся у них в ногах, что с этого момента и до августа 1991 года мы утратили к нему всякий интерес. А дальнейшие его похождения, включая всеобщ в Межрегиональной депутатской группе, казались нам тогда слишком тривиальными. Мы не могли предугадать, что эта личность преподнесет еще и нам, и стране довольно приятные сюрпризы.



«ОТВЕТ ОДИН – ОТКАЗ»



Но вернемся к нашим баранам. Хотя здесь не требуется возвращения, наши бараны пасутся повсюду, как в 1988 году, так и в 1993-м. Первой крупной акцией ДС должен был стать митинг 21 августа 1988 года, призванный в массовом масштабе повторить подвиг диссидентской семерки в 1968 году на Красной площади. Тем более что оккупация Чехословакии продолжалась. На Красную площадь мы не пошли, у нас была своя, "прикормленная" Пушкинская площадь. Мы расклеили чуть ли не 100 000 листовок. И мы можем гордиться тем, что заставили горбачевскую перестройку, которая так хотела щеголять в бархатных перчатках, показать железные когти: 28 июля по специальному Указу были приняты драконовские правила о демонстрациях. В то время 1000 рублей были как сейчас 100 000. Именно такую сумму штрафа было позволено взимать за несанкционированные митинги. Здесь уже по статье 1661, ч. II разрешалось приговаривать к пятнадцати суткам ареста. После нескольких арестов шла уголовная статья (2001) – полгода тюрьмы. Я не помню колебаний у той радикальной половины партии, которая определяла все ее действия. В дальнейшем число радикалов неуклонно повышалось за счет тихих меньшевиков, которые призывали к бездействию и бездействовали лично, отчего их не было, к счастью, ни видно ни слышно. В 1989 году радикалы вышли на 2/3, в 1990-м -на 3/4, в 1991-м – на 5/6. Мы шли на грозу и, наверное, очень понравились бы Максиму Горькому в силу того, что в партии сплошь и рядом летали буревестники и призывали на свою голову бурю. Помню партсобрание накануне 21 августа, свернутые лозунги на столах, кучи оставленных для акции листовок, рыжего партийного котенка Гришу, который ползал по лозунгам в полном восторге (сегодня он большой и мудрый, с солидным партийным стажем). Из Питера приехала Катя Подольцева (в Москве ее мало знали, поэтому дали только пять суток; я, конечно, получила свой партмаксимум – 15 суток). Как говорится: война объявле-



на, претензий больше нет. Нам удалось собрать 5-6 тысяч людей. Милиция не справлялась, к тому же западный, интеллигентный полисмен-шериф, начальник 108-го о/м Владимир Федорович Белый заявил, что его люди разгонять не будут, они не держиморды, а будут просто стоять в оцеплении. Впервые в Москве был применен ОМОН, а потом любой выход ДС на площадь уже вызывал автоматически появление этой самой живописной части перестроечного пейзажа. Мы были врагами советской власти и были официально признаны таковыми. ОМОН и аресты на 15 суток заменили временно 70-ю статью и Лефортово. Но мы доказали, что сущность власти не изменилась. Ради того, чтобы это поняли все, мы готовы были не только к разгону, но и к расстрелу.

Владимир Федорович Белый был честным врагом. Он уважал идейных противников и терпеть не мог задержанных, которые пытались доказать, что проходили мимо митинга случайно. У него было чувство чести японского самурая. Мне он говорил, что питает ко мне такое уважение, что не стал бы сажать меня на 15 суток, а сразу поставил бы к стенке. Мои представления о чести были аналогичными, и я навсегда сохраню к нему теплые чувства, ибо такое мнение – это большая похвала. Я всегда культивировала образ "честного врага", а Белый был из лучших. Если у человека нет врагов, да еще при занятиях политикой, это наверняка ничтожество. Тот же Белый учил нас нашему ремеслу. "Плохо работаете, господа! – говорил он. – Что это за митинги! Если вы выведете 50 000, мы будем тихо стоять в оцеплении, если 200 000 – я вообще прикажу своим ребятам не выходить из отделения, а если вы выведете миллион, я сниму форму и сам к вам присоединюсь". Если бы народ восстал во имя демократии, так бы поступила не только милиция. Армия не посмела бы стрелять, а ГБ сидела бы тихо в лубянском подвале и молилась духу Дзержинского. Но народу оказалась не нужна демократия, в том-то вся и беда!



Однако она была нужна нам, и эту личную проблему мы решали одни, и ни один перестроечный соловей не смел за нас заступиться. Мы были брошены на произвол судьбы либеральным истеблишментом, и никогда еще никого не сдавали так грязно и откровенно (за исключением последних ельцинских предательств, да и то ведь Егор Гайдар и Егор Яковлев ушли не в тюрьму, а в отставку), как сдавали нас только за то, что мы шли впереди и прошибали лбом мешающую не только нам стену.

Каждый выход на митинг означал арест. Каждый арест омоновцами означал для меня и для активистов ДС 15 суток. Судьи Фрунзенского суда вынесли столько приговоров по политическим делам, сколько никто другой. Они судили нас круглосуточно: часто нас омоновцы приволакивали в суд и ночью, чтобы обойтись без лишних свидетелей. Были случаи, когда этих "судей" привозили в уединенные опорные пункты, где держали нас, и они выносили приговоры и там. Они действовали не под влиянием страха – это в 1988, 1989, 1990 годах! – им уже ничего не угрожало. Их даже не могли уволить. Они делали это добровольно, повинуюсь извращенному советскому правосознанию, правосознанию палачей. Агамов, Шереметьев, Голованова, Чаплина, Митюшин, Одинокова, Фомина. Возможно, потомуки будут иметь мужество воздать каждому по делам его, и я привожу здесь их имена. В Германии нацистские судьи были смещены, а персонал концлагерей понес еще и уголовную ответственность, не говоря уже об СС и СД или руководителях национал-социалистической партии. Мы никогда не требовали такой степени отмщения, мы готовы были простить своим палачам. Но не терпеть их в обществе и в политике на прежних ролях! Лишение дипломов для врачей-садистов, запрет на профессии, люстрация для руководителей КПСС и КГБ, общественный ostracism – если палачество не будет караться хотя бы этим, то на земле не останется никого, кроме палачей. На нашей земле и не осталось никого, кроме них и их жертв. Кролики и удавы. Остальные уехали, или погибли, или сошли с ума, или ищут смерти, как ДС.



Горбачевская перестройка запомнилась мне как один сплошной арест с недолгими переменками. 17 арестов, 17 голодовок по 15 суток – это моя личная маленькая ленинградская блокада, более восьми месяцев. На втором месте по ДС Саша Элиович – восемь арестов, а ему было труднее всех, он же язвенник. На третьем месте Дима Стариков – шесть арестов, у остальных – по пять, по четыре ареста. Наш острог, спецприемник ГУВД, помещался недалеко от Клязьминского водохранилища, на 101-м километре. По крайней мере, на подходе к сему узилищу нас встречал плакат "Счастливого вам отдыха!", рассчитанный на отдыхающих клязьминского пансионата.

Некогда эту зону построили немецкие военнопленные и сами же в ней сидели, что-то строя в окрестностях. Потом, после войны, там был женский лагерь. Последнее его назначение – спецприемник для административно арестованных. Наши политические камеры помещались в одном крыле (8, 9, 10 и 11). Наибольшая вместимость нашего острога, то есть его политического отсека, была 30-35 человек. Ровно столько и получали аресты, остальных из сотни-полутора захваченных штрафовали. Наверное, советское правосудие уже списало мои 6 тысяч штрафа, убедившись, что я им заплачу после дождичка в четверг. Да мне и не из чего было платить при окладе в 130 рублей, который я из-за перманентных арестов практически не получала. Камеры были оборудованы просто и оригинально: решетка, дверь с глазком, голые деревянные нары. Помещение практически не отапливалось, я до сих пор ощущаю этот ледяной холод, от которого мерзло даже лицо. Зимой там было 7-8. Летом дотягивало где-то до 13. При голодовке это ощущалось особенно мучительно. Административный арест – это условия ШИЗО, штрафного изолятора. Нет передач, свиданий, книг, прогулок, переписки, постельных принадлежностей, матраса, одежды. Условия, приближающиеся к пытке. Курить тоже нельзя. Я не курю, но другие дээсовцы очень мучились. Курильщики знают, что это – жить без курения 15 дней. В лагере в ШИЗО по-



мещают за провинность, пусть даже и вымышленную, а здесь – сразу ШИЗО. Сколько моих молодых товарищей искалечилось в этих ледяных камерах без пищи и без воды! Мне-то нечего было терять, меня искалечили раньше, в этих камерах я загубила только почки и вернула себе почти вылеченную астму, но это пустое. Сколько раз падал в голодный обморок теперешний председатель подкомиссии по законности Моссовета депутат и основатель ДС Виктор Кузин, которого притаскивали в камеру в залитом кровью свитере после избиении омоновцами и агентами КГБ!

Надо было добиваться статуса политзаключенного, надо было завоевывать право на человеческое достоинство в заключении – или умирать. И мы это сделали; пожалуй, впервые с 30-х годов, когда перестал признаваться статус политзаключенного. Мы добились отдельных камер, права сидеть только с политическими демонстрантами или в одиночках, права не работать, приносимых из дома книг, учебников, письменных принадлежностей. Я выходила, вся набитая антисоветскими листовками и статьями. Мы, в уже полумертвом состоянии, заставили их давать нам наши теплые вещи и даже одеяла – тоже наши; возить нас в душ в Бутырки или Матросскую Тишину, греть каждый вечер женщинам-политическим воду. Этого можно было добиться только сухой смертельной голодовкой. В Питере держали мокрую и не добились ничего. Катя Подольцева своими пятью голодовками загубила желудок, многие в Петербурге попали в больницу и даже на операционный стол. Мокрая голодовка переносится гораздо легче. Правда, все 15 дней жутко хочется есть и снится сплошная еда. Никакого привыкания! Но чем больше голодовок, чем чаще они, тем скорее слабеешь, впадаешь в полуобморочное состояние и уже не страдаешь, только все время спишь, а в промежутках вполне можно читать и работать, отдыхая после каждой страницы. После 10-й голодовки я была в таком состоянии, что тюремщики брали с меня чуть ли не честное слово, что я не умру. Они иногда, за исключением особенно свирепых, жалели нас и старались понять. Но жалость зиждилась на нашей твердости и само-



убийственных действиях. Самым человечным был, пожалуй, начальник сего острога майор Худяков. Когда в июне 1988 года перед партконференцией меня привезли к нему с руками, черными от кровоподтеков (гэбистские нежные объятия), он столько звонил во все инстанции, требуя отмены приговора, что его начальство поинтересовалось, не вступил ли и он в ДС. Он даже делился с нами книгами из собственной библиотеки. Но если бы не перспектива нашей смерти в подведомственном ему заведении, он не сделал бы столько шагов нам навстречу. У гуманизма здесь была деловая основа. Однако либеральные газеты, депутаты со съездов из разряда "демократов" и диссиденты нас жалели и того меньше. Ни одного слова в нашу защиту ими не было сказано. Приходилось еще доказывать тем же диссидентам, что создать политическую партию – это не то же, что поджечь дом. Пришлось мне написать целую статью, адресованную именно диссидентам: "Чем отличается политическая борьба от правозащитной деятельности, или Сектанты ли мы?". Статья была оспорена в диссидентской печати, но никто из диссидентов не пожалел тех, кто занял их место в тюремных камерах. Нам говорили: "Надо дело делать, а не сидеть. Некогда сидеть столько суток, и неохота, лучше мы потом опять сядем по 70-й статье". Что ж, когда пришло это время, по 70-й статье сел опять ДС, да и правозащитной деятельностью нам же пришлось заниматься.

Рекорд сухой голодовки принадлежит Саше Элиовичу. Восемь с половиной суток! Непонятно, как он выжил. Его обтянутый кожей скелет товарищи вынесли на руках из тюремной больницы. Саша Элиович по праву считался первым стратегом ДС, в политологии он просто Александр Македонский. Он подарил стране идею гражданского пути и написал почти в одиночку II программу ДС, самую изысканную и причудливую из всех политических программ. Но дар стратега у него сочетался с обостренной совестливостью и абсолютной честностью, и он умел умирать. Равнодушие к своим страданиям я диссидентам простила. Равнодушие к страданиям моих молодых товарищей я никогда не прощу.



Если сухая голодовка начинается во время мокрой, это особенно тяжело, ведь организм уже обезвожен. Через 2-3 дня о воде не можешь забыть ни на минуту, после пяти дней перестанешь спать. Видишь сплошные водопады и реки (а Саша Элиович мечтал о кефире). Язык распухает, во рту все такое шерстяное, как из джерси. Потом начинается внутренний жар (это в ледяной-то камере!). Внутри словно горит костер. Нельзя ни думать, ни читать, ни писать. Это не самая легкая из пыток. Очень хочется в одном купальнике побегать в ноябре по лужам или даже по снегу; воздух словно раскаляется; в одном тренировочном костюме прижимаешься к холодной стене, губы охлаждаешь о железные стойки нар. Потом начинаются судороги, неудержимая внутренняя дрожь. Дальше – отек. Потом они – а не мы! – сдавались. Спасибо Горбачеву за его единственный подарок – за право умереть в камере по собственному вкусу, за отмену принудительного кормления (везде, кроме тюрем КГБ) и частичный отказ от психиатрического террора. Какой дар может принять диссидент, вернее, даже революционер, от государства, с которым он поклялся бороться? Только возможность достойно умереть. Я лично никогда ничего другого и не требовала. Выход из голодовки очень тяжелый, ведь даже мокрая (с водой) 15-суточная голодовка вызывает судороги в ногах, сердечные приступы, спазмы в пищеводе, а при больной печени, как у меня, бывает еще хуже. На выходе сначала болят, а потом дико опухают ноги. А если через 15- 20 дней снова арест? Один раз меня почти принесли в суд прямо из дома, и интервал между пятнадцатью сутками и семью сутками ареста составил всего пять дней. Судью не смутило то, что я не могла стоять. Это был "осенний марафон". 17 арестов – это было сознательное физическое уничтожение, химический анализ, проба на излом. Это нормально. Власть имеет право испытывать человека кислотой, как золотую монету. Если он из чистого металла 96-й пробы, он устоит. Зато человек вправе не покоряться государству. Они враги, и у каждого в этом поединке свое оружие. У власти – насилие, плахи, тюрьмы, пытки; у человека – его стоицизм, его мужество. ДС выстоял. Дальше, за гранью 17-го ареста, шла



смерть. Физические возможности были исчерпаны. И они отступили, они переменили пластинку. За административными арестами пошли дела по УК.

А какие отборные люди водились в ДС! Сплошная элита, но элита веселая и находчивая, вовсе не дорожающая собой, швыряющая жизнь со щедростью Креза и никогда не берущая сдачи! Как будто на серую пустыню, на пепелище советской действительности накинули цветной златотканый покров, чтобы скрыть рубище страны. В 60-70-е годы Россия не была бедна: у нее были диссиденты. В 80-е и 90-е годы Россия тоже не вылетела в трубу: у нее был ДС. Вообще главный сырьевой ресурс страны – ее инсургенты, и государство должно дорожить ими больше, чем золотыми приисками. Нас будут реабилитировать через 50 лет, сейчас еще не управились с жертвами 30-50-х годов. Поэтому я составляю здесь заранее свой личный маленький мемориал, или гербарий лучших дээсовцев.

Саша Осипов, щуплый рафинированный интеллигент, один из лучших в стране "знатоков" национальной проблематики, предсказавший до тонкости, как будет проходить распад Союза, еще в 1989 году. Когда я принимала этого молодого ученого в ДС, я сама себе не верила. Люди этого типа сидят в академиях, а не в тюрьмах. И получают Нобелевские премии, а не удары дубинкой.

Сергей Скрипников, любимое чадо партийной ростовской элиты, выпускник МГИМО, дипломат и экономист, холерный английский джентльмен, красиво и барственно грассирующий, отличный синолог. И это он пришел в ДС, и ездил со мной по стране, и рисковал жизнью, и медленно умирал в соседней камере от сухой голодовки, но держался... Это его тащили за волосы омовцы, это его били сапогами.



Андрей Грязнов, физик и поэт. Тоже аристократ, и тоже декабрист. Вот одно из его стихотворений, некое личное дело перестройки.

ДИНОЗАВРЫ

Мы постепенно сознаем,
Что нет причины бить в литавры,
Что семь десятков лет живем
В стране, где правят динозавры.
Они не ведали забот.
Для них жратвы всегда хватало.
Но вот в одни прекрасный год
Погода вдруг меняться стала.
Экономический развал!
Не положить бы пасть на полку.
Вот тут один из них сказал:
- Загнем-ка, что ли, перестройку.
Чтоб сохранить былой престиж,
Хотя мы всех всегда давили,
Мы скажем: карнозавры* лишь
Суть динозавров извратили.
Так динозавры будут врать.
Им ничего не остается.
Они готовы всех сожрать,



Кто в их телегу не впряжется.
У динозавров аргумент
Для всех один (простой, как клизма):
Не с нами – значит, диссидент,
Антисоветчик и агент Всех хищных сил "имперья-
лизма".

Не распахнуть нам темных штор,
Не смять неправедные лавры.
Не жить свободно до тех пор,
Пока не вымрут динозавры.

1989 г.

—

*Хищный вид динозавров.

Совет хорош! А они все живут и живут... Не могу не по-
делиться еще одним аппетитным стихотвореньицем насчет со-
циалистического выбора.

7 НОЯБРЯ 1987 ГОДА

Когда-то призрак из Европы
(Не то с тоски, не то со злобы)
По русской пробежал росе.
И вот уж семь десятилетий
Мы, зубы сжав, ползем в кювете
Вдоль превосходного шоссе.



1987 г.

Кто не слышал лекций Андрея Грязнова о Канте или по греческой философии, тот ничего не слышал. В оригинале Кант – довольно пресное кушанье, но в Андрюшином изложении – пища богов. Вообще, если бы Грязнов и Элиович были современниками Платона и Аристотеля, они отбили бы у них всех учеников, включая Александра Македонского. Я, к счастью, не знала тогда, что 19 августа Элиович и Грязнов будут глумиться над защитниками Белого Дома и призывать их разойтись, что они уйдут из ДС еще в 1991 году, до путча, из трусости, что Виктор Кузин перейдет на сторону красных, что Дмитрий Стариков будет выступать на анпиловских митингах и требовать восстановления СССР!

По сути дела, их уже нет, но цветы положить некуда.

И этот алмазный фонд явился на заграничный съезд ДС в Латвию. II съезд ДС прошел в январе 1989 года. Мы снимали кучу помещений, но ГБ шла по пятам, и нам отказали в последний момент. Однако латыши нас все-таки пристроили в одном юрмальском пансионате и выделили каминную для съезда. Здесь-то мы были свои! Во время оно с партбилетом ДС можно было ездить по странам Балтии, предъявляя его всюду вместо железнодорожного. Мы знали Слово Маугли: "Мы с тобой одной крови, ты и я", то есть "За вашу и нашу свободу!". Мы боролись за восстановление их независимости, и мне смешно сегодня слышать об угнетении русских в Балтии, потому что нас любили пламенно и самозабвенно, как братьев. Нацистов и оккупантов не любят нигде, сердцу не прикажешь. Мы помним, как сегодняшние "заплаканные" русские глумились над идеей балтийской свободы, как боролись за сохранение СССР. Подделом вору и мука. Малая толика презрения им не повредит. Мы заседали, забаррикадившись в коттедже. Гэбисты ломали



дверь. Когда они ворвались, Валерий Терехов из петербургского ДС спокойно читал предлагаемые поправки. Ошалевшие гэбисты стояли в дверях, а мы даже не поворачивали головы и приняли документ. Тогда они кого-то поволокли из помещения, и все 150 гостей и делегатов выскочили на улицу, на травку, и расшвыряли гэбистов и милицию. Их было всего 40 человек, мы над ними открыто издевались. Утащить кого-нибудь они не смогли. Мы просто их отбрасывали. Оставалось в нас стрелять или вызывать воинское соединение. И они ушли.

II съезд ДС дополнил наши документы. Среди целей ДС открыто прозвучала "дезинтеграция СССР". (Это в начале 1989 года!) Мы заели это дело юрмальскими деликатесами, и в Риге у памятника Свободы мы с Сашей Лукашевым заклеямили оккупантов и восславили независимость Балтии. Латыши плакали от счастья и дарили нам цветы. Гэбисты писали нас на магнитофон. Корреспонденты спрашивали, неужели нам жизнь не дорога.

III съезд ДС прошел в Таллинне в январе 1990 года. Нам выделили даром зал Технического университета и даже даром кормили обедом. А жили мы в старинной крепости, превращенной в гостиницу. Если в Латвии чувствовался фронт и шла "холодная война", то в Эстонии оккупантов и оккупацию просто не замечали. Эта страшная сила духовного превосходства делала местную пятую колонну (оккупантов) очень смиренными. Оккупированный Советами Таллинн выглядел как оккупированный немцами Париж. Было совершенно очевидно, что этот город нельзя покорить, что он не имеет отношения к СССР. Активисты партии Национальной независимости Эстонии рассказали нам, как они элегантно борются с ленинизмом. Памятник Ленина у горкома полили валерьянкой, и все местные коты устраивали там серенады. Я думаю, что этот памятник снесли первым, и по инициативе КПСС. Эстонцы ходили сквозь оккупантов, как сквозь стену. Они говорили, что с русскими у них не будет проблем: те интересуются только уровнем жизни, и на



него сменяют пять СССР и шесть социализмов. Они говорили с презрением и знали, что мы не обидимся: эти русские не были нашими соотечественниками. В Эстонии было сколько угодно глазированных сырков, шоколада, дивных сосисок, бекона, шоколадных пирожных, кур и семги. Мы уничтожили, по-моему, их месячные запасы. Глядя на наш ужин после вечернего заседания (нас кормили в любое время: мы были свои), зав.рестораном задумчиво изрек: "Если у русских революционеров такой аппетит, то сколько же едят консерваторы? Нет, надо отделяться!" Аналогичный случай был в Питере после партийной конференции. Мы целый день не ели и дорвались до ресторана. Глядя на количество блюд на нашем столе, знакомый журналист вздохнул: "Нет, вторую партию нам не прокормить!"

III съезд ДС принял решение о бойкоте выборов в Советы. Шло поименное голосование, и наши меньшевики, охочие до портфелей, думали, как бы скорее слинять, что многие потом и сделали, ибо ДС не давал своим членам никаких благ, кроме одного: свободы.

Конечно, выборы состоялись и без нас. Жалкие, несвободные, фиктивные, они тем не менее дали людям робким, которым нужно создавать условия, возможность участвовать в публичных дискуссиях и как-то себя проявить. К избранному составу съезда мы отнеслись примерно так же, как звездные пришельцы гуманоидного типа отнеслись бы к неандертальцам (уровень гражданского развития ДС и съезда позволял такие параллели). Мы готовы были им помочь, взять под свое покровительство, ввести в цивилизацию. Не готовы были только к тому, что они будут держаться за свои каменные топоры и пещеры, как за признаки наиболее передового образа жизни. Мы раздали всем наши обращения "Депутату, гражданину, человеку". Однако прыжка через столетия не получилось, эволюция пошла, как всегда идет, по сантиметру.



А нас ожидало 9 апреля – для нас 8-е, потому что гонцы из Грузии, рассказывая о той ночи, употребляли именно эту дату. Тогда на наших глазах это случалось впервые – и мы чуть не сошли с ума. Мы не хотели жить. Мы хотели, чтобы нас убили теми же саперными лопатками. Появилась листовка "Всем антифашистам нашей страны". Это лучший листовочный текст, который я за свою жизнь написала. Мы заклеили им Москву. Я лично видела, как из рук читавшего его человека выпала бутылка с кефиром и разбилась о тротуар. Да, это действовало сильно. Я разносила листовки по редакциям. Коллектив "Юности" помогал их распространять и спрашивал, что еще они могут сделать. Тем же занималось "Знамя". Тогда они, наверное, впервые в своей жизни вышли на площадь. Общество опомнилось, очнулось ото сна и переживало момент наивысшего подъема и единения за счет негодования и отчаяния. Как раз вышли карательные Указы. Знаменитая 111 сулила острог всем, кто смел мыслить и говорить. Но то, что мы готовили, подпадало под 70-ю статью. Мы считали, что эта акция будет последней. Мы были в этом так уверены, что Катя Подольцева из питерского ДС приехала в Москву, чтобы отдать родителям свою дочь Лизу и чтобы ребенок не остался один после ее ареста – уже не на 15 суток, а на семь лет.

В штаб-квартиру звонили: "Здесь антифашисты? Мы ветераны войны, мы придем". Я позвонила Геннадию Жаворонкову, и он просто сказал: "Я буду там". Я этого его доброго дела никогда не забуду. Я позвонила товарищу – диссиденту Льву Тимофееву, и он сказал, что мое приглашение – провокация. Этого я тоже никогда не забуду. О, как мы хотели не вернуться с площади! Лечь под танки! А иначе как было смотреть грузинам в глаза? Я сходила даже к Сахарову. Я надеялась, что он выйдет вместе с нами. Но этого не произошло. Андрей Дмитриевич поставил этот вопрос в Академии наук, и они приняли резолюцию о том, чтобы власти не применяли жестокие меры к митингующим, а демонстранты бы их не провоцировали. Властям, ко-



нечно, было наплевать на все резолюции. Накануне акции все активисты ДС были обложены "длинными пушистыми", то есть хвостами.

Это были уже целые рати на машинах. Мы трое – Саша Элиович, Андрей Грязнов и я – ночевали в штаб-квартире. Я боялась только одного: не попасть на площадь. Не умереть вместе с теми, кто туда дойдет. Я была уверена, что танки нам обеспечены. И мы, зная, что вокруг дома караулят машины, решили уйти от хвостов. Мы втроем поднялись на пятый этаж и полезли по лесенке в лаз на чердаке. Руководил всем Андрей, у него оказался просто полководческий талант. Я вспомнила свою альпинистскую практику. Мы шли по чердаку к крайней секции дома. Впереди Андрюша, как Данко, нес свечу. За ним шел Саша и разгонял палкой голубей. Голуби шипели, как змеи, и гадили нам на головы. Но когда мы, озираясь, выбрались из последнего подъезда дома, у входа нас ждала парочка гэбульников! Они дежурили не только у нашего подъезда! Увидев у нас палку, они подобрали себе такую же. Мы схватили заблудшее такси. За нами ринулась гэбистская машина обычного вида, но с мощным гоночным мотором. Но всего одна! Другую мы уже "посеяли". Мы дали шоферу листовку и все ему объяснили. Он все понял и, повозив нас полночи, тщетно пытаясь уйти, завез в песчаный карьер, резко развернулся и поехал гэбистам в лоб. У них сдали нервы, и в последнюю секунду перед столкновением они свернули, пропустив нас. Мы ушли вперед, получив фору на квартал. Заехав в район новостроек, водитель сказал, что уведет гэбистов за собой, резко затормозил, мы выскочили и спрятались. Гэбульники не видели остановки, она была мгновенной. Они помчались дальше за такси, и водитель дурачил их до утра. А мы высидели несколько часов в чужом подъезде и поехали на "чистую" конспиративную квартиру к другу Андрея. Там мы поспали и поели и приняли душ. Друг вызвал своего приятеля с машиной и сказал, что лидеров ДС надо обязательно доставить на площадь. "Доставлю", – пообещал друг, сжимая монтировку.



Это была самая многочисленная наша демонстрация. На площадь вышли 15 тысяч человек. Несмотря на угрозы властей по телевидению, танков не было. Обычная массовка: милиция, спецназ, ОМОН, ГБ. Наш москвиченок проник между двумя омовскими автобусами и встал. Прямо – море людей, слева – ОМОН и милиция, справа – корреспонденты. Мы эффектно выскочили на площадь. Мы с Андреем – с лозунгами, Саша – с трехцветным флагом. Нас тут же схватили, но мы обеспечили себе кару. Все руководители ДС были захвачены, и митинг повела 18-летняя студентка Эля Виноградская. Она залезла с флагом на дерево и произнесла пламенную речь. Потом с мегафоном возглавила колонну, и 15 тысяч человек пошли за ней! Митинг шел на Арбат к грузинскому культурному центру, через Москву, а ОМОН останавливал движение! "И убегают сторожа, открыв дорогу нам". Они захватили лидеров, и не помогло. 15 тысяч они арестовать не могли. Арбат был занят из конца в конец, люди поднимали кулаки в антифашистском приветствии. Здесь бы и войска не помогли. Власти поняли, что ДС надо остановить. И нам с Игорем Царьковым вместо 15 суток решили предъявить 200'. Это было уже полгода. О 200' раструбили по радио и в газетах. Мы обещали просто поселиться в палатках на Пушкинской площади и проводить митинг постоянно, раз уж такое дело. Сидеть – так не зря! Это была неслыханная наглость. Мы обещали держать голодовку все шесть месяцев. Они не сомневались, что мы назло им уморим себя голодом (Игорь Царьков держал голодовки вместе со мной). Люди под 200' готовили новый несанкционированный митинг, не скрываясь; по телефону диктовались лозунги аж на 64-ю статью. И власти отступили, поставленные перед неизбежностью нашей голодной смерти. Нас схватили дома в шесть часов утра, отвезли в суд, выдали по 15 суток и отправили в острог к нашим товарищам. Это была самая тяжелая сухая голодовка, когда мы чуть не умерли. Почти семь дней. Нам ставили в камеры миски с едой. Мы открывали окна и выливали ложками через решетку весь обед на чистенькие, белые стены тюрьмы. Несчастные надзиратели только и делали, что мыли наш острог снаружи, как перед пасхой. Так мы отучили наших стражей ставить нам в камеры пищу (в принципе это пытка). Когда мы уже



теряли сознание от жажды, врач из МВД (большой садист) распорядился ставить нам в камеры воду. Мы выливали ее под дверь. В коридоре начался ледоход, и от нас отстали. Когда кончился срок Саши Элиовича, он отказался выходить из камеры, оставив нас умирать. Его вывели и посадили на травку. Стоять он не мог. Слава Богу, подъехал дээсовский Красный Крест с соками и машиной. Умирать остались Юра Гафуров, Игорь Царьков, редактор партийной газеты "Свободное слово" Эдуард Молчанов и я. Юра Гафуров так страдал, что спрашивал у меня, не может ли он вскрыть гвоздем вены, чтобы скорее умереть, а не ждать жуткой смерти от жажды. Я еле его отговорила. Двойные майские праздники не дали прокуратуре Москвы вовремя сориентироваться. Наверное, на седьмой день мы были хороши, судя по испугу прокуроров, которые бегали по камерам, лично отдавали нам книги и заклинали жить, а то им не с кем будет бороться. А мы и пить-то уже не могли. Мы получили свое. Мы были чисты перед Грузией.

IV съезд ДС был приглашен в Киев лидером тамошних дээсовцев Фредом Анаденко. Он обещал нам золотые горы, но съезд вышел вроде I Учредительного по количеству приключений на душу делегата. Потом Фред признался, что он думал не об удобствах съезда, а о неудобствах местных гэбистов. По моему, эта цель была достигнута вполне. Но это были не первые "приключения в Рио". Еще зимой за год до этого мы с Игорем Царьковым ехали в Киев на съезд Украинского Демократического Союза. УДС с Евгением Чернышевым во главе был самой крайней национально-демократической организацией на Украине в 1988-1989 годах, на уровне организации украинских националистов. После съезда, на который мы ехали и который не состоялся, УДС преобразовался в УНДЛ – Украинскую Национально-Демократическую Лигу, а потом Лига стала партией – УНДП. Женя Чернышев выучил в совершенстве украинский и перестал говорить по-русски. Мы были счастливы, что ДС внес лепту в создание радикальных украинских организаций. Мне природные украинцы-радикалы говорили, что каждый раз, когда им хочется сказать: "А пропади они пропадом, эти русские!",



– они вспоминают про Евгения Чернышева и останавливаются на полуслове.

Так почему не состоялся съезд УДС? Потом мы узнали, что всех делегатов насильственно выслали домой из Киева – кого в Харьков, кого в Житомир. С нами было сложнее. Едва мы успели выйти из вагона на киевском вокзале, как на нас набросилась толпа в двадцать или больше местных гэбистов в "форменных" норковых шапках-ушанках. Ни слова не говоря, не задавая вопросов, они, выкрутив нам руки, принялись запикивать нас в две машины. Мы стали кричать о самостоятельности Украины и об отделении ее от СССР. Причем мы это кричали по-русски (по-украински мы читали, понимали, но не говорили, хотя Царьков из Запорожья), а гэбисты свои команды отдавали с сильным украинским акцентом. Получался парадокс и восхитительный скандал, пассажиры сбегались. Утрамбовав нас в машины, наши похитители помчались, как гепарды, на красный свет и доехали до аэропорта. Прямо по взлетному полю, распугивая встречные самолеты, они подкатили к ИЛу и поволокли нас по трапу. Стало наконец понятно, чего они от нас хотят. Депортация. Но не тут-то было! Я ухватилась внутри за люк, не давая его закрыть, и стала вопить на весь аэропорт, что выброшусь из самолета на полном ходу и этим его разгерметизирую. Царьков сначала был ошарашен, а потом стал подыгрывать. Словом, мы соглашались лететь только в наручниках и мешках на голове, привязанные к креслам, что в полном пассажирском самолете, конечно, проделать было нельзя. Гэбисты пытались закрыть люк, но стюардесса кричала, что в самолете еще нет пилота, не поведут же они сами. Царьков читал вслух пассажирам документы ДС. Те ничего не поняли, кроме того, что в самолет проникли два террориста. Появился генерал МВД и спросил, возможно ли, чтобы люди прыгали из самолета на ходу. Царьков посоветовал ему позвонить в Москву, в КГБ, и спросить, на что способна Новодворская. Генерал ушел и не вернулся. Видно, там подтвердили, что я и из ракеты выпрыгну. Гэбисты совали нам билеты, купленные на казенные деньги (подарок Щербицкого), но уже с меньшим энтузиазмом. Царьков



съездил одного по физиономии, так что он свалился на сундуки и баулы. Ему даже не дали сдачи! Пришел пожилой летчик, узнал, в чем дело, и сказал, что он рейс не поведет, ему год до пенсии остался, и ушел в административное здание. Пассажиры умоляли не держать самолет, особенно одна бедная женщина, которая опаздывала на похороны. Я вслух (и очень громко) уверила ее, что на похороны мы все попадем, как только самолет поднимется в воздух. На наши собственные похороны. После чего пассажиры взбунтовались, выбрали комитет, вышли из самолета и заявили: "Мы с этими террористами не полетим". Среди них нашелся один юрист из Москвы, и он сказал примерно следующее:

- Я документов ДС не знаю и знать не хочу, но ваши действия, если вы представители властей, просто безумны. Если они преступники, отправляйте их спецрейсом с охраной. Если нет, зачем вы пихаете их в самолет? Я вот доеду до Прокуратуры Союза, и вашему Щербицкому не поздоровится.

Один старенький дедушка, летевший на слет партизан, пристал к гэбисту:

- Покажите служебное удостоверение!

- Нету у меня...

- Покажите паспорт!

- Нету...

- Люди добрые, так они же бандиты! Держите их!

Словом, через три часа гэбисты вытащили нас из самолета и приволокли в аэропортовскую милицию. Там объявили, что посадят нас в поезд, который идет до Москвы без остановок. Мы очень обрадовались и сказали, что из поезда прыгать



даже легче, чем из самолета.

- Вы же разобьетесь!

-А вы за это ответите!

Офицеры милиции оказались "западэнцами" из Львова, они нас накормили в ресторане. Наконец явился прокурор Киева с предостережением по 70-й статье. Устно он обещал еще 64-ю. Это нас тоже обрадовало. Бедный прокурор такого сроду не видел. Мы даже не дали обыскать наш багаж, а везли мы массу дивных антисоветских материалов. Словом, в 21.00 нас выпустили в город. Киев был потрясен, Щербицкий посрамлен, украинские радикалы в нас положительно влюбились, а мы съели всю колбасу и выпили весь узвар, приготовленные Женей Чернышевым на съезд УДС.

Но вернемся в весну (майские праздники) 1990 года.

От помещений несчастному съезду отказали сразу: где мыши, где тараканы, где сборная СССР по боксу, где наводнение, где ремонт – все предлоги были хороши. Первый день съезда прошел за городом, на танцплощадке с маленькой эстрадой какого-то пансионата, в окружении половины, наверное, киевской милиции и ОМОНа, причем замминистра МВД Украины бегал вокруг с мегафоном и объяснял, что нас посадят по уголовной статье за захват для незаконных мероприятий общественных зданий (это танцплощадки-то!). Статья такая и впрямь была, но ДС уже вырвался на оперативный простор, и такие предложения не страх вызывали, а искренний восторг. Убедившись, что страха Божьего мы лишены, ОМОН включил глушилки с какофонической музыкой. Мы все перешли на эстраду, поближе к ведущим.



Осаждавшим пришлось уйти раньше осажденных, потому что я заявила, что мы не уйдем первыми, оставив наше поле боя – танцплощадку, и будем заседать до следующих праздников (дело было в мае). Попутно я еще успела выступить на учредительном съезде УРП (Украинской Республиканской партии), пригласив Украину к немедленному выходу из Союза и от имени России отказавшись навеки от всех на нее прав, чем вызвала восторг съезда (мне аплодировали стоя) и протрацию как у московского, так и у киевского ГБ.

На следующий день мы нашли в Киеве заброшенный амфитеатр в парке, построенный явно во времена Ярослава Мудрого и успевший разрушиться. В этих развалинах съезд и свил себе гнездо. До амфитеатра нас провожали. Когда мы с Асей Лащивер спросили у идущих нам навстречу мужчин, сколько нам идти до летнего театра, они любезно ответили: "Столько, сколько вы уже прошли". Через два часа после начала мы увидели, что сверху нас разглядывают в бинокль. А потом по ступенькам спустилась целая рота киевской милиции в парадных мундирах и белых перчатках (опоздавшим делегатам гэбисты говорили: "Куда вы идете? Там сейчас будут стрелять, бить дубинками и применять газы") и окружила съезд, встав даже между первым рядом и ведущими на эстраде. На эстраду поднялся прокурор Киева и попросил слова. Съезд вел Андрей Грязнов. Он поставил вопрос на голосование. Съезд в слове отказал! На месте прокурора я бы застрелилась. Советская власть была свергнута силами одного ДС, потому что он игнорировал не только ее приказы, но и само ее существование. Прокурор побыл немного и ушел. Милиционеры стояли и застенчиво улыбались, проклиная свое руководство за дурацкое положение, в которое их поставили. Мы с Юрой Бехчановым из Самарского ДС сидели в первом ряду, мертвой хваткой вцепившись в один трехцветный флаг. Юра отказывался его выпустить, боясь, что без флага его не арестуют. Я по тем же причинам отказывалась отдать флаг ему. ДС уже дозрел до того, что его члены боя-



лись не ареста, а того, что их не возьмут. Фред Анаденко по диссидентской привычке диктовал телефоны киевских контактов Асе Лащивер. Наконец раздалась команда: "За спецсредствами шагом марш!" Милиционеры церемониальным маршем отправились за дубинками и газом. Конечно, они не вернулись. А на следующий день только полили дегтем первые скамьи амфитеатра, потому что на все скамейки в Киеве дегтя не хватило.



ГДЕ ЗДЕСЬ ПРОПАСТЬ ДЛЯ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ?



В мае 1990 года мне удалось экономически эмансипироваться от государства: перейти из своего зачатого института на работу в дээсовский кооператив по свержению "конституционного строя". Так что целый год я была профессиональным революционером не только в переносном, но и в прямом смысле. Моя партийная должность называлась в стиле наробраза: методист ДС. В роно это самая никчемная должность; по идее, методист должен учить учителей учить ребят. Моя должность вполне соответствовала традициям: я пыталась обучить "подрывной элемент", как лучше подрывать устои. Где я только не побывала!

В профессии профессионального революционера есть свои преимущества: по крайней мере, можно посмотреть страну, режим которой ты собираешься свергать. Я видела тяжелый, серо-стальной Тихий океан в бухтах Владивостока и даже каталась по нему, потому что во Владивостокском ДС состоял один настоящий морской волк, боцман Миша. Я видела хрупкую и очаровательную японскую флору в парках Дальнего Востока; похожий на Океан Соляриса пенный Амур, свинцовую Лену, жемчужный Енисей. А Ангара оказалась нестерпимо сапфировой, и, несмотря на все слухи о загрязнении, Байкал был достаточно хрустальный, и цвет у него оказался ван-гоговский. Иркутское партсобрание ДС происходило прямо в тайге, на сопках, на полянке, и медведь мог запросто выйти и попросить слова по повестке дня. А вот Обь была уже грязная, как несчастная заезженная Волга, и Иртыш выглядел не лучше. И везде, от Нижнего Новгорода до Владивостока, я ухитрялась устраивать праздники непослушания вместе с тамошними нашими партайгеноссен. Институты, НИИ, театры, клубы, да и заводы, бывало (но реже). И всегда по три выступления в день, и всегда на



сладкое – митинг. Местные власти, наверное, топились и вешались. Люди охотно ходили на "крамолу"; я только не замечала тогда, что они – зрители и что на сцену они сами не лезут. В сущности, ДС устраивал гладиаторские бои, бросаясь добровольно во все львиные рвы и в печи огненные. Зрители рукоплескали, но из безопасного укрытия. Если это и была революционная деятельность, то на уровне парижских кафе 1848 года. Был бал. А после бала – казнь. Так, по Эдварду Радзинскому, выглядит любая дворянская революция. Но наше отчаяние было так велико, что мы не следили за реакцией аудитории, за реакцией после того, как падал занавес нашего спектакля. Мы жили на этой сцене, мы не ломали, а переживали своего Шекспира. Не все ли равно Отелло и Гамлету, куда пойдет зритель после спектакля? Ведь в зале он аплодировал! Что еще нужно хорошему актеру, у которого нет никакой другой жизни, кроме сценической? ДС играл, но не лицедействовал, потому что он играл самого себя. Но наша самая лучшая роль была впереди. Вильнюс. 13 января. Мир рухнул окончательно. Мы относились к Балтии с особенным благоговением, мы чтили в ней часть Запада, нашей земли обетованной. У нас там были не просто друзья, но товарищи. Мы участвовали в конгрессах всех радикальных национально-освободительных движений. Я никогда не забуду Учредительного съезда ДННЛ (Движения за национальную независимость Латвии) и выступления гостя от партии Национальной независимости Эстонии. Он не знал латышского, но не стал говорить по-русски, хотя в зале все знали русский. Он говорил по-немецки, а переводчик переводил на латышский!

Эстония мало говорила, мало выступала, но больше всех презирала. Поэтому она осталась самой нетронутой из трех стран, и она сейчас ушла дальше всех на Запад. Там за Бразаускаса не проголосуют! И перед смертью я буду видеть, как весь зал после моего выступления встает и аплодирует стоя, вплоть до овации. То же было и в Вильнюсе, на сейме Саюдиса. Первыми встали делегаты от Каунаса, за ними – все остальные. Что может бессильный, одинокий человек сделать для своей обезумевшей страны? Главное – искупить ее вину, а остальное все



приложится. ДС замаливал (и продолжает замаливать) российские грехи. Мы все время напрашивались на крест, а после 13 января он стал нравственной необходимостью. В этот день без всяких санкций и оповещений на Советскую и Манежную вышли 10 тысяч человек. Наконец и депутатов заело. Они пошли даже на Красную. Этим многие слабости и колебания искупятся. Вышли и диссиденты. Александр Подрабинек, например. Настроение ДС очень хорошо передает мое стихотворение, написанное в те январские дни. Бывает, что плохое стихотворение может что-то хорошо передать!

ОККУПАЦИОННЫЙ РОМАНС

"Мы – не сталинские злодеи,
Мы на танках в Литву не вступали".
В девяностые не краснеем,
Наша хата все еще с краю.
И у нас ничего не сварилось,
Мы опять ничего не посмели.
А от Вильнюса до Тбилиси
Смяты танками все апрели.
Говорили: отцы виноваты,
Заварили имперскую кашу.
Получилось: наши лопаты
И империя – тоже наша.
Демократия – просто задаром,
Солидарность – еще дешевле.
Ванна гласности с легким паром



Чем дозволенной, тем задушевней.

А сегодня все по-другому,

А сегодня страшнее и проще:

Оккупанты останутся дома.

Остальные пусть выйдут на площадь.

В ночь на 14 января родилось "Письмо двенадцати", которое стало главным мотивом для моего ареста в мае и дела по новой формулировке 70-й статьи. Когда я писала его, то испытывала такие чувства к Горбачеву, что готова была и впрямь поступить с ним, как народовольцы поступали со своими губернаторами. Но через несколько дней я поостыла и вернулась к прежней дээсовской установке: достаточно сказать о праве на теракт вслух и заклеить тирана, бросить ему публично вызов и пойти на смерть, но не лишать его его жалкой жизни (тем более, что бедняга не тянул на Ивана IV, или Нерона, или Иосифа Виссарионовича). То, что я написала такое письмо, никого не удивило. Удивительно и достойно восхищения то, что его подписали еще 11 человек, не прошедших через страшную мясорубку советских карательных заведений, хотя я всех предупреждала, что это II часть 70-й статьи: "Призывы к свержению существующего строя", коллективный вариант (группа), то есть 7 лет. Это письмо я и прочитала на Советской площади прямо в гэбистские видеокамеры.

"ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТИ"

"Когда правительство нарушает права народа, восстание является священным, и необходимейшим долгом народа"
"Декларация прав человека и гражданина"

"Истребление тиранов" – так когда-то Набоков назвал свой рассказ о злодеяниях Сталина. Сегодня переполнилась ме-



ра злодеяний советского фашистского режима Горбачева. Против безоружного народа Литвы брошены танки, пролилась кровь мирных жителей.

Советские штурмовики повторяют подвиги громил СА в Тбилиси и Баку. Гражданская война, развязанная кликой Горбачева против его безоружных противников, посмеявших предпочесть свободу рабству, приобрела открытый характер. В этих условиях вооруженное сопротивление, неуместное в другое время, становится законным средством борьбы народа с властью, обagrившей руки его кровью. Мы бесславно стерпели три Тимишоары: Тбилиси, Баку и Вильнюс, хотя Горбачев достоин участи Чаушеску, а его режим – аналогичного финала. Кто осудит студента, убившего Сомосу? Кто бросил бы камень в покушавшихся на Сталина и Гитлера?

Преступив закон, гласящий, что жизнь человека – святая, Горбачев сам поставил себя вне этого закона.

Отныне ни законы Божеские, ни законы человеческие не защищают его и других военных и государственных преступников от гнева народа и руки мстителя.

Нельзя искупить свою вину перед народом Литвы, не защищая его с оружием в руках от карателей. Отныне народ приобретает право на свержение преступной власти любым путем, в том числе с помощью вооруженного восстания.

Политический режим, заливающий страну кровью, должен быть низвергнут, а кремлевские палачи разделить участь преступников, осужденных на Нюрнбергском процессе или павших от руки участников антифашистского Сопротивле-



ния на оккупированных территориях. Мы заявляем об этом открыто, и пусть наше обращение станет прологом к будущей демократической революции.

Члены партии ДС: Елена Авдеева, Юрий Бехчанов, Алексей Бирюков, Владимир Данилов, Анна Комарова, Вадим Кушнир, Валерия Новодворская, Василий Носов, Елена Орадовская, Алексей Печенкин, Иван Струков, Евгений Фрумкин.

К документу присоединился 21 делегат V съезда ДС с решающим голосом (из 72 человек) и 22 члена ДС, гости съезда, делегаты с совещательным голосом.

А еще я читала стихотворение "Кинжал" и посвящала Гитлеру, Сталину, Пол Поту и Горбачеву. И рвала портреты последнего буквально пачками. А какие лозунги у нас были! "Страна, где президент – бандит, свободы недостойна", "Лучше баррикады, чем горбачевизм", "Горбачев – Чаушеску", "Красные подонки, вон из Литвы", "Хватит терпеть режим фашиста Горбачева" и т.д. Как всегда, впереди были самые отборные дээсовцы, наши "боевики": Лена Авдеева (19 лет), Юра Бехчанов (22 года), Коля Злотник, Женя Фрумкин, Вадим Кушнир, Кирилл Шуйкин, Гриша Воробьев (20 лет). Звучало знаменитое стихотворение "Пошатнулся и замер государственный строй". Мы пошли по Тверской, по проезжей части, к Манежной, наплевав на ОМОН, ничего не видя от горя. Мы не знали, живы ли наши друзья из "Лиги свободы Литвы". Ведь мы обещали первыми лечь под предназначенные для них танки! Но мы были живы, а кого-то уже давили. Как было после этого жить? Потом Андриус Тучкус из "Лиги" мне рассказал, что они с Гинтарией, его женой, уложили спать детей (хорошо знакомых мне Грету и Доменика), не успев даже предупредить родителей, заперли дверь, взяли машину и поехали на площадь к парламенту умирать. И так поступили десятки тысяч. Ни у кого не было оружия,



кроме бензина и нескольких охотничьих ружей. В квартирах запирали детей и уезжали умирать. Когда я об этом думаю, то у меня руки трясутся от беспредельной ненависти к танкам моей империи – и к их водителям, и я понимаю, что здесь бы не поколебалась не только лечь под танк, но и поджечь его, но и стрелять по русским десантникам.

Мы дошли до Манежной. Здесь уже был грузовик с депутатами, и Галина Старовойтова протягивала ко мне руки, приглашая на эту трибуну. Но нам было этого мало. Мы кричали: "Давайте сюда ваши танки!" Мы хотели выйти на Красную. Перед нами выросла цепь ОМОНа и автобусов. Как одержимые, мы бросились на ОМОН и порядком его помяли, по прорваться не смогли. Тогда я крикнула: "Всем сесть!" – и мы сели в лужи мокрого снега. ОМОН ошалел. Через пять минут нас стали брать.

На этот раз народ отбивал дээсовцев ожесточенно. Меня дотащили до подземного перехода, прямо по снегу и воде. Народ – за голову и руки, ОМОН – за ноги. Я думала, меня пополам разорвут. Так же отбивали Лену Авдееву. Когда 10-12 человек запихнули в автобусы, оказалось, что вокруг бегают Гдлян со своими ребятами и пытается автобусы перевернуть. Уцелевшие пошли вместе с депутатами к литовскому представительству. Назавтра нас выпустили, и всю неделю, как на работу, мы ходили на Советскую площадь и проводили там митинг S1 (то-то радость была гэбистам и моим будущим следователям), потом с лозунгами шли к литовскому представительству и проводили там митинг S2. ОМОН повадился хватать нас на обратном пути, когда организаторы расходились по 5-6 человек. Автобус резко тормозил, омовцы выскакивали, как волки, хватали намеченную жертву, упаковывали и уезжали.



Мы называли это "арестом из-за угла". Один раз так схватили меня и выпустили только после суда. Митинги продолжались, пока советские войска не остановились в Литве. Через несколько недель, выступая перед рабочими-оружейниками Коврова, я призвала их часть оружия портить, как это делали военнопленные в 40-е годы на заводах Германии, а часть переправлять в Литву или прятать по домам для вооруженного восстания против коммунистов (у моих следователей это была любимая пленка, ибо на ней запечатлелся наибольший криминал).

В феврале мы поехали в Литву помогать провести референдум о независимости. Когда мы увидели эту баррикаду, увешанную карикатурами и флагами Литвы, Украины, Эстонии, Латвии, у нас защемило сердце: танки опрокинули бы ее за несколько минут. Вокруг были старательно расставлены бетонные глыбы, а подле них дежурили ребята с бутылками бензина. Наш друг Витаутас из Каунаса ходил по крыше парламента с мелкокалиберкой. У костров грелись интернациональные бригады: кроме прибалтов, там было полно украинцев, белорусов, но были и русские (среди них и мальчишки покрепче из сибирских организаций ДС). Еще до нас Олег Томилов из Омска в 20-х числах января со своей дээсовской бригадой (это были делегаты V съезда ДС) перелез через стену Северного городка. Они раздавали танкистам листовки и говорили им речи в мегафон. Конечно, всех арестовали. Они вышибли дверь на гауптвахте. Их чуть не пристрелили, но через пять дней выпустили.

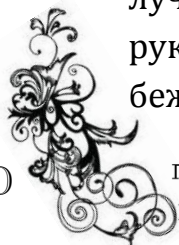
Парламент был набит мешками с песком. Нам с гордостью объяснили, что в случае чего заготовленный бензин поможет сжечь и парламент, и баррикаду, и защитников, и атакующих вместе с танками. Конечно, таким способом нельзя спасти и отстоять город, но можно спасти честь. Мы с Юрой Бехчановым давали интервью литовскому телевидению в парламенте, сидя на мешках с песком. У меня сохранился пропуск в здание ВС (туда пускали с большим разбором). Наше интервью с



призывом сжечь все танки до последнего, выкинуть оккупантов из Литвы и позвать вовремя нас, если СА опять пойдет в наступление, чтобы мы успели взять оружие (Увы! Его и у Литвы-то не было!) и обратить его против тех, кто говорит на нашем языке, но при этом является нашим врагом, было показано в тот же вечер. Агенты КГБ в Литве его записали и переслали в Москву. Все это я потом нашла в деле во время следствия.

То, что мы задумали, даже у Андриуса Тучкуса вызвало протест, а у Саюдиса – просто панику. Они все считали, что мы живыми из этой переделки не выберемся. Впрочем, мы думали так же. Мы другого и не хотели. У захваченных радио и телевидения была запретная зона за красными флажками. Здесь десантники открывали огонь без предупреждения. Мы выбрали пятерых камикадзе: я, Вадим Кушнир, Лена Авдеева, Юра Бехчанов и Вадим Смирнов. У нас был большой литовский флаг и лозунги, из которых "Красные подонки, вон из Литвы" и "У советского оккупанта нет Отечества. Его родина – танк" оказались самыми мягкими.

Мы договорились с литовским телевидением и бросились в день накануне референдума за флажки, взобрались по ступеням радиокомитета и замерли по стойке "смирно". Троллейбусы останавливались, литовцы выпрыгивали. Телевидение снимало. Когда появились десантники с автоматами, женщины в толпе зрителей стали закрывать лица руками. Десантники были в шоке. А когда они узнали, что мы русские, да еще и из Москвы, они вообще перестали понимать, что происходит. Несколько раз они выстраивались с автоматами напротив и угрожали немедленным расстрелом. Мы делали шаг вперед, рвались на автоматы и умоляли их стрелять, чтобы мы искупили позор России. Старшие офицеры, видно, позвонили куда следует и получили ЦУ, что с этими бесноватыми делать. Нас стали брать за руки и за ноги и утаскивать за флажки, а мы рвались обратно, бежали к бетээрам, хватались за автоматы. Юра Бехчанов пы-



тался у одного солдатика автомат даже отобрать. Мы просто напрашивались на выстрел. Нас снова выкидывали. Потом солдаты стали в цепь по краю заграждений, и мы перешли к Дому печати. Там мы стояли час, а десантники попрятались внутри и даже не вышли. Потом мы отправились к комендатуре. Был адский холод, не меньше -20 . Из комендатуры на нас натравили овчарку, но Лена Авдеева – большой кинолог и ее мгновенно приручила. Потом офицеры заявили, что вызвали танк из Северного городка. Мы едва не околели от холода, но танка не дождались. И опять останавливались троллейбусы... Этот сюжет (по первому эпизоду акции) литовское телевидение показало дважды: днем и вечером. Надеюсь, что мы прибавили голосов за независимость. А вечером мы с Леной едва успели вовремя вынуть Юру Бехчанова из петли. У него было слишком много совести. Я вспомнила, как в Самаре, приглашая людей по телефону на митинг, Юра тоном хорошей хозяйки, приготовившей фирменный торт, заговорщицки добавлял: "Водомеры будут!" А в Москве, когда ввели совместное патрулирование, скатился с лестницы с радостным воплем: "Ура! Военное положение, господа! Шампанского!"

В 22 года трудно примиряться с неизбежным. Юра считал, что мы не искупили своей вины перед Литвой, раз мы остались в живых. И Юра был прав.



ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ, ЕГО НЕ УНИЧТОЖАЮТ



Если враг не сдается, то его уничтожают только достаточно "крутые" противники, по крайней мере, обладающие свежей равноценной идеей. Белые – красных; красные – белых; фашисты – либералов, и наоборот. Чахлые, потерявшие всю идейную крепость, выдохшиеся, как открытый "Тройной" одеколон, небольшие 90-х годов ДС казнить не смели. Надо думать, что КГБ понимал, что наша смерть сделает нашу позицию неуязвимой. Поэтому они все время приценивались к нам и примерялись, не упали ли мы в цене, по карману ли им с нами справиться. Доведя историю с арестами на 15 суток и с перманентными моими голодовками до края, до смертельной грани, в марте 1990 года, после последнего ареста за акцию в честь Февральской революции (12 марта), наши сатрапики забуксовали больше чем на год. Если бы я не ходила на каждую акцию, закрывая собой все амбразуры, аресты бы продолжались. Но поскольку я всегда называлась организатором, всегда вела митинг и не брать меня было нельзя, они лишались возможности, не приговаривая к аресту меня, сажать моих товарищей.

Здесь они переменили пластинку. Сначала не брали вообще, а когда стали снова брать и судить, повадились присуждать тысячные штрафы. Им самим было смешно каждую неделю назначать человеку тысячный штраф. Конечно, этот способ пополнения госбюджета у них не прошел. Ни копейки с ДС они не получили, потому что профессиональные революционеры у нас превалировали. Это были просто Олимпийские игры: наш пикет брали каждую субботу из-под лошадки Юрия Долгорукого. В знак протеста в воскресенье выходил другой пикет (мы делились на смены). Его тоже брали. В понедельник судили всех вместе. В 109-м о/м, где мы ночевали, нам выделили персональные камеры. К нам привыкли, поили чаем, переда-



вали принесенные с воли завтраки и ужины. С собой мы часто брали Атоса, маленькую собачку Ларисы Пушминой. На Атосе иногда тоже висел лозунг. Атоса брали вместе с нами (его дома не с кем было оставить), ездил он и на суд. Однажды нагадил в суде прямо на пол! Но в марте 1991 года, к Февральской годовщине, мы решили разнообразить нашу жизнь. И вышли на Лубянку с пакетом красной краски, налитой в молочную емкость. Весь наличный гэбистский контингент у крепостных стен защищал свои здания. По-моему, там был полк. Не считая ОМОНа со щитами и шлемами. Едва мы с Мишей Денисовым и Вадимом Кушником (других взяли еще раньше) развернули лозунги прямо у андроповского барельефа, нас стали хватать. Вадик успел бросить в стену свой пакет, и это красное пятно на стене и асфальте гэбисты потом отмывали несколько субботников подряд. Мишу и Вадима страшно били, а пакет приписали в протоколе мне, хотя я сроду бы никуда не попала. Естественно, я не стала возражать и взяла все на себя, чтобы прикрыть Вадима. Для меня это было менее опасно; они знали, что значит иметь дело со мной. Миша Денисов пытался благородно пакет перехватить себе в протокол, но ГБ устраивала моя кандидатура, а милиция писала лишь под их диктовку. Дзержинский суд назавтра расценил дизайн на Лубянке в 10 и 20 рублей штрафа. Причем, когда один судья начал нас оправдывать, омовцы, руководимые гэбистом, перетащили нас к другому судье с возгласом: "Такой судья нас не устраивает!" Но другой отказался судить вообще. Пока суд да дело, большая часть дээсовцев разбежалась. Я старалась всех отослать и остаться одна. А третий судья не давал больше 20 рублей штрафа. За этот пакет краски на меня завели уголовное дело. Какое, я так и не узнала, потому что отказалась ехать в прокуратуру разбираться, хотя в суды за мной пару раз приезжала "Волга" с чиновником и гэбульником, а повестки шли, как снег. Но после горбачевского дела тащить меня силой они не решились, и эта история завяла на корню. Когда власти настроены несерьезно, судить ДС могут только "по собственному желанию".



Даже вялая карательная практика тех лет показывала, что, если человек соглашается сидеть, он сидеть будет. Раньше, до 1988 года, вопрос так вообще не стоял: нам не давали умереть. Доктрина искусственного кормления и применения стирания личности в СПБ лишала политзаключенных "оружия возмездия". Горбачев не дал права на жизнь, но он вернул нам драгоценное право на смерть, а с точки зрения инсургента, это главное в жизни. Человека, готового умереть, нельзя взять голыми руками. Ведь на той же акции 12 марта 1991 года взяли и бросили по ложному обвинению в Бутырскую тюрьму двух молоденьких анархистов – Родионова и Кузнецова – и мучили их там год, даже и после 21 августа, дав три года срока. Мы их отбили потом, но нам пришлось дойти до решения в случае отказа пересмотреть дело взять в заложники судей, перейти к терактам. Чтобы не связываться с ДС, после такого моего личного письменного заявления по факсу во все СМИ ребят освободили, пересмотрев приговор. Но сколько было акций (даже два захвата ОМОном уже в феврале 1992 года), сколько горьких статей, сколько разорванных увеличенных "ельцинских" открыток!

Итак, нас не сажали не из-за попустительства, а из-за нашей установки "Свобода или смерть". В июне 1990 года у меня была очередная методическая поездка в Воронеж. Был митинг, был колоссальный разгон, была армия омовцев. Нас посадили (у меня был максимум – 15 суток, у члена ДС Сергея Баранова – 7 суток, у одного члена Народного Фронта – 10 суток; социал-демократ получил 5 суток). Стояла страшная жара, в местной тюрьме (в Воронеже нет спецприемника) водились тараканы, а у меня должна была начаться международная конференция по правам человека в Питере и методическая поездка в Краснодарский край и Сочи. И я решила: я больше никогда не буду сидеть нигде, кроме как в Лефортове по политической статье. Решение пришло спокойное и прохладное, но скоро стало жарко, потому что мы держали сухую голодовку.



Несмотря на глухую провинциальность Воронежа, дело получило огласку. Подняли шум депутаты облсовета, что-то передавали "Вести", дээсовцы сидели в палатке (перманентно) перед Моссоветом и клялись в случае нашей смерти начать сухую голодовку за изменение законодательства. На пятый день в такую жару мы стали умирать (технология я уже описывала). И власти опять сдались. Они свезли нас в больницу и устроили нам кардиограмму и консилиум. Убедившись, что дело плохо, местная ГБ звякнула в суд, и тот сократил нам срок до пяти дней всем. Пока шли эти переговоры, нам освободили палаты для ветеранов ВОВ (одну – мне, другую – ребятам). У входа в палаты на матрасах спали милиционеры с рациями, они же гуляли у входа и по отделению, пугая до полусмерти больных.

За мной приехали из Москвы Володя Филипенок и Олег Циоменко, полномочные послы ДС. По-моему, это по приказу ГБ им срочно продали обратные билеты в купейный вагон, хотя в кассе ни черта не было. Меня надо было поскорее убрать из города. Я не возражала, потому что все выступления в Воронеже кончились.

Сухая голодовка без конкретных требований – это был отказ сидеть. Впрочем, мы уже получили повышение, хотя и не знали об этом. На нас готовились уголовные дела.



«В ПРОРЫВ ИДУТ ШТРАФНЫЕ БАТАЛЬОНЫ»



Мимоходом, незаметно для своих строгих судей, разрушительный нигилистический ДС решил несколько более чем конструктивных задач, за что, как водится, был побит камнями. Во-первых, мы прикрыли собой всех национал-демократов – до ухода их в недосягаемый для спецслужб, прокуроров и ОМОНа суверенитет. Никого из них не могли судить за сепаратизм, как в 60-е годы Левко Лукьяненко, сидевшего в камере смертников по 64-й статье УК. Как можно было арестовывать "лигистов" из Литвы, сепаратистов Латвии, Эстонии и Украины, если в метрополии, в столице колониальной империи, партия ДС включила в свою программу пункт о дезинтеграции СССР?

Начинать надо было с нас. Мы кричали "Долой СССР!" под стенами Кремля, наши акции 23 августа посещались партией Возрождения Латвии, но даже здесь мы брали себе большую долю: нам – по 15 суток, им – по пять, по семь. Мы вывели их из зоны огня, из-под наших же российских орудий, вынесли на руках. Мы – чужие среди "своих", но навечно свои среди "чужих". Мы вырывали полузадушенные республики из окровавленного клюва российского стервятника. Об этом будет приятно вспомнить перед смертью, хотя бы и на виселице. И я знаю, что нас будут оплакивать и в Киеве, и в Риге, и в Вильнюсе, и в Таллинне, и в Баку, и в Зугдиди. Но мы, оставаясь вечно крайними, прикрыли и "своих" – "Московские новости", "Независимую", "Столицу", "Огонек", ДемРоссию, будущих бизнесменов. Мы были так нестерпимо резки, наше незарегистрированное, подпольное "Свободное слово" с тиражом в 55 000 было такой большой листовкой, что прочие демократы могли сойти за хороших, послушных детей. Опять-таки начинать надо было с нас. С нас и начинали: горбачевское дело, сожжение флагов – 1902,



аресты за митинги, 70-я статья. Практически все досталось нам, за исключением 19-21 августа, когда подтянулись остальные.

У нас была поразительная жизнестойкость. Даже упав после очередного выстрела в спину (статья уважаемого Бандуры на "странице трех авторов" в "Московских новостях" конца 80-х годов – хороший выстрел, меткий), мы все равно ползли к амбразуре, чтобы закрыть того же г-на Бандуру собой... Что ж, такова участь штрафного батальона. Его гонят на смерть и не говорят "спасибо". А потом занимают завоеванный плацдарм. Весь нестандарт заключался в том, что ДС был добровольческим штрафным батальоном. Нам сказали "спасибо" Ленком и Марк Захаров (гениальность творческая часто совпадает с гениальностью человеческой), западные журналисты и честные тамошние либералы и антикоммунисты и множество безвестных, но порядочных людей.

Я никогда не забуду, как на одном из пикетов, когда мы мерзли уже четвертый час, какой-то инженер принес нам кофе и сэндвичи, поставил у ног вместе с посудой, сказал: "Чем могу" – и быстро ушел. Но "Московские новости", которые мы читаем бессменно с 1988 года, "спасибо" не скажут. А Лариса Богораз еще раз где-нибудь заявит, что мы – совершенно безответственная организация, как сказала она это в 1988 году, когда мы сидели по камерам. В собственном восприятии ДС выглядел так:

1. СЕРЬЕЗНАЯ ВЕРСИЯ АНДРЕЯ ГРЯЗНОВА:

Уже как будто совершилось,

Чему свершиться суждено:

И Божий суд, и Божья милость,



И "ни за что", и "все равно".
Земная жизнь – одна минута
Падения от "Да" до "Нет".
Лишь тот поймет его секрет,
Кто не раскроет парашюта.

2. ВЕРСИЯ ИРОНИЧЕСКАЯ В ИСПОЛНЕНИИ ОЛЕГА
ЦИОМЕНКО:

Захотелось под танки,
Смыть позор горьких лет.
Мы пришли на Лубянку,
Только танков там нет.
И сказала нам Лера:
Выше знамя Руси!
За отсутствием танков
Можно лечь под такси,
Под автобус, под трактор,
Под асфальтный каток,
И вполне вероятно,
В этом будет свой прок.
Встрепенутся все страны,
Весть пройдет по земле,
И от срама тираны
Зарыдают в Кремле.



Пресса попроще "МН" писала о нас под заголовками "Мы будем в вас стрелять", сказал лидер ДС". Телевидение любило изображать нас на фоне сходящих с рельсов поездов. Обвинения в "бульварных" газетах обычно сводились к тому, что мы лодыри, пьяницы, диверсанты, шпионы, антисоветчики, что мы взорвали Чернобыль и собираемся и дальше устраивать взрывы на АЭС и химических заводах. Одно было непонятно, почему тогда мы не арестованы именно за диверсии. Я думаю, на Лубянке очень развлекались, читая эту ерунду. Мы же отстреливались пародиями.

Акции ДС были причудливы и величественны в одно и то же время, в них было много смеха и достаточно хорошо спрятанных слез. За предельным вызовом таилось предельное отчаяние. Каждый раз мы вызывали на ужин Командора, и, когда он появлялся, мы не имитировали веселье: нам было и вправду весело. На Делакруа накладывался Гойя, на Гойю – Суриков ("Боярыня Морозова") с сильной примесью Крамского и Ге. Это вначале мне приходилось перед акциями надувать некоторых дээсовцев, как шарики, весельем и отвагой. Потом это уже не требовалось. Мои товарищи стали ходить на акции с сумками книг и ватниками, не считая умывальных принадлежностей, чистого белья и полотенца. И, если нас случайно не брали, злые и разочарованные дээсовцы устраивали мне сцены: "Какого черта мы сюда притащились!" Если нас не брали на Пушкинской, мы шли на Красную, где арест был обеспечен.

Мы видели, что стена не рухнула. И мы разбивали об нее головы у всех на глазах, надеясь привлечь внимание к этой стене.

Когда гражданское общество так малочисленно, оно только и может, что разбить себе голову о стену. А нам пытались подложить подушку, и это было страшнее всего. В дни



первого съезда нардепов мы работали с мегафоном на Пушкинской от восхода до заката и однажды попали в плотное кольцо ОМОНа, в котором провели шесть часов до приезда Станкевича и Сахарова. Так народ нам бросал внутрь кольца колбасу, хлеб, бутылки с лимонадом, даже одеяла и батарейки для мегафона. Тогда мы еще на что-то надеялись... Когда надежда ушла и уступила место смертельному, безнадежному упорству? Наверное, после 23 апреля 1989 года.

Мы первыми вынесли на митинг трехцветное знамя. Это было 12 марта 1989 года, на Маяковке.

Отчеты о митингах выливались и в милицейские протоколы, и в постановления Фрунзенского суда, а в КГБ, наверное, ломались отведенные нам шкафы и приходилось нанимать новых делопроизводителей. Когда членов ДС не брали, они пытались влезть в автобус добровольно, чтобы разделить участь своих товарищей. На Пушкинской сбоку еще стоит историческая телефонная будка, с которой на митингах говорили пламенные речи и солидаризировались с Балтией Саша Элиович и Андрей Грязнов. Андрюшу тогда избивали до полусмерти и дали плюс к этому 15 суток. Его арестовывали в школе, прямо во время уроков, на глазах изумленных детей, а потом он был вынужден уйти с работы. Со мной было еще занятнее – меня во Втором Меде исключили из профсоюза "за участие в несанкционированных митингах".

ДС вполне можно было назвать если не партией расстрелянных, то партией разогнанных и посаженных.



Я - СПАРТАК!



ДС, при всей своей веселости, был организацией очень мрачной, с эсхатологическим уклоном. Впрочем, таким он и остался. Мы играли шекспировскую трагедию внутри бурлеска и площадного фарса, и получалось очень смешно. На одну единицу раздражения ДС реагировал тысячей единиц крика, надрыва, отчаяния и протеста. Любая нормальная власть "да ходит опасно" (то есть глядит в оба), пока у нее под ногами болтается такая вредная организация. Поэтому несчастный Горбачев, позволяя принять закон о своей чести и достоинстве, готовил себе печальную участь. Принимать такие законы могут только профаны, чьи представления о Западе почерпнуты из голливудских боевиков. Если там, "за бугром", к власти испытывают пиетет, то у нас в России ее просто боятся. Трепещут, так сказать. Впрочем, право кнута – вещь в себе и зависит только от силы размаха. Это доказуемо эмпирически. Но когда эта же самая власть вдруг начинает требовать, чтобы ее уважали, – это слишком даже для советского человека. Здесь он заявляет: "Есть у тебя дубинка, так бей, а уважать тебя так же естественно, как чтить моровую язву". Первым за горбачевскую девичью честь сел на год бездомный бедняга Смирнов, требовавший жилья от генсека в слишком активной форме и в картинках с надписями. До этого закона ДС занимался Горбачевым мало, от случая к случаю. Мы привыкли оперировать понятиями "система", "строй", "режим", "номенклатура" вне персонификации, языческой и примитивной.

Закон об оскорблении величия вынудил нас заняться президентом поподробнее. Сам напросился. Дабы протестовать против этого закона, нужно было анализировать "объект". Для этого вождя мига у меня была заготовлена статья "Хайль, Горбачев!". Как только закон был принят, мы ее запу-



стили в "Свободное слово". Кстати, в 1991 году мы считали Ельцина бесспорным преемником Горбачева и предполагали, что, придя к власти, он начнет вешать. Я уже говорила о нашем пессимизме и черной меланхолии.

То есть смягчения режима, которое было бы некорректно отрицать, я не ожидала. Но, поскольку Ельцин у нас не ассоциировался ни с Баку, ни с Тбилиси, ни с Вильнюсом, мы не испытывали к нему такой пылкой ненависти, как к Горбачеву. Скорее что-то вроде усталого равнодушия и насмешливого презрения. К кому я испытывала ненависть, так это к счастливым обладателям лозунгов "Ельцин, Ельцин, ты могуч, ты разгонишь стаи туч" и значков с его медальным профилем величиной с чайное блюдечко. Примерно те же чувства, впрочем, я испытываю к создателю гимна "Боже, царя храни". Так что без обиды, всем поровну.

К этому времени ДС представлял собой совершеннейшее создание революционного искусства, отборный экземпляр Буревестника с характером Сокола из соседнего произведения того же автора, с беззаботностью жаворонка, драчливостью петуха и язвительностью Гарпии. После большевиков, мне кажется, никто так не был счастлив со своей партией, как дээсовцы, и никто не трясся так над своим партбилетом, как мы. Побывав в ДС, я стала понимать, почему большевики дрожали перед исключением из партии. Мы с упоением сидели в выходные дни по 7-8 часов на партсобраниях и платили членские взносы с дрожью сладострастия. Боюсь, что ни один светский человек с Запада не поймет наших высоких чувств. У советских людей даже при очень сильном антисоветском уклоне свое представление о развлечениях и удовольствиях. Не знаю, что чувствовали мои товарищи, но для меня ДС был продолжением моей души и образом жизни.



Для полного счастья нам не доставало баррикад и военного положения. Вы уже догадались, что августовские три дня были посланы ДС самим Провидением. Что до Горбачева, то мы заманили беднягу в мышеловку, поместив туда вместо сыра лозунг "Горбачев – фашист, палач и убийца". Впервые в истории популяции мышья шла на такую невкусную наживку. Это была просто поэма! Сначала некто из кругов, близких к КГБ, прочитал "Хайль, Горбачев!" в "Свободном слове" и излил свое негодование на любезно подставленных вместо ушата страницах "Советской культуры". Как водится в СССР, читательская обида была оформлена в виде заявления в прокуратуру. Прокуратура, защищая сироту, возбудила дело в безличной форме "по факту". Прокуроры явились на наш склад печатной продукции за газетой, и им выдали на общих основаниях два экземпляра, не забыв содрать два рубля. Дело вначале было таким же вялотекущим, как шизофрения. У нас был большой опыт таких дел. Знаменитое дело S 64, которое велось под занавес по старой формулировке 70-й статьи питерским ГБ против тамошних дээсовцев, послужило поводом для сочинения многих анекдотов. Оно велось даже не вприкуску, а вприглядку, поскольку дээсовцы на допросы не являлись, а если даже одного удавалось отловить, он отказывался разговаривать.

Словом, дело пришлось закрыть в силу полнейшего отсутствия к нему интереса у подозреваемых. Горбачевское дело оказалось гораздо занятнее. Горбачеву его Нобелевская премия стоила не дешевле, чем Пастернаку. Согласитесь, что если травить Пастернака – это был большой грех, то травить генсеков – дело приятное и общественно полезное. Тем более что брань на ворота не виснет, а деньги и должность мы у Горбачева не отбирали (бодливой корове Бог рог не дает). Я оскорбляла Горбачева в прозе и в стихах, утром, вечером и на сон грядущий. Конечно, не вульгарно, а самым причудливым образом. Скажем, лозунг звучал так: "Нобелевская премия фашисту – браво, Запад!". И старая облезлая советская тигра, которую мы все время дергали за усы, среагировала: я побила рекорды по количеству уголовных дел, возбужденных почти синхронно и по одному



поводу. Два дела были возбуждены в Москве – по устному оскорблению и по письменному ("Хайль, Горбачев!"). Кстати, царствующая особа была расценена в шесть лет тюрьмы, выше, чем первичные призывы к свержению строя (статья 70, часть 1), что стоило три года. Я оскорбляла Горбачева в интервью и на митингах, на диспутах и демонстрациях, в столице и в провинции, на заводах и в университетах. Так что в Воронеже дело возбудили тоже, а в Петербурге их оказалось три, причем три дела я заработала за четыре дня! Одно было возбуждено из-за моей речи на митинге Международной правозащитной конференции на Дворцовой, второе – за доклад на той же конференции, а третье – за выступление на заводе Метростроя. Конференция была занятная. Бедный Собчак выделил под нее шикарный дворец с буфетом, поселил делегатов в роскошной гостинице и даром кормил деликатесами на обед в лучшем ресторане. Неблагодарные делегаты разнесли тут же в пух и прах советскую власть вообще и Собчака в частности за автократию, тоталитаризм и системность, вместе взятые. Тихие западные правозащитники едва не падали в обморок, слушая пламенные дээсовские речи. Дел была масса, а подсудимая – одна. Поэтому Верховный суд состряпал из всех этих дел одно, и это одно, конечно, досталось Мосгорсуду. Но все это происходило пока не на авансцене, и мы ничего не знали.

Однако новое (как сказал бы Сергей Кургинян: сакральное) преступление заставило суд и прокуратуру выйти из подполья. После очередного нашего разгона меня не посмели посадить (мои сухие голодовки не обещали ничего, кроме забот и хлопот), но дали 10-15 суток самым молодым дээсовцам. Для меня, да и для других не посаженных такая ситуация была вне нравственной допустимости. Мы стояли с 10 по 17 сентября на Советской в пикете по 10-12 часов. Самым отчаянным был Юра Бехчанов. В дополнение мы с нашими жуткими лозунгами прошли церемониальным маршем до Белорусского вокзала, до Фрунзенского суда, но судья Митюшин дважды отказался меня судить. "Новодворскую? Судить? Я что, спятил? Хоть убейте, не буду!" - провозгласил он. Мы поняли, что пикеты бесполезны, и



решили прибегнуть к последнему средству: сожжению государственных флагов. Аутодафе наметили на 16 сентября. Во избежание накладок с размерами приобрели в магазине несколько новехоньких флагов. А когда мы расклеили афиши-листовки на манер "Солидарности", нам массу флагов нанесли люди. Своих кровных, что вывешивают к табельным дням. "Нате, сожгите и наш", – говорил народ, вручая свой пай. 16 сентября мимо нас семенила бесконечная демонстрация ДемРоссии. Шел дождь, но флаги заранее пропитали бензином (чуть склад не сожгли). Поджигала я их фигурной восковой свечкой, сама (я знала, что это уже уголовная статья 1902 и не хотела подставлять других). Володя Иванов, один из самых революционных депутатов, помог мне своей зажигалкой. Мы сожгли семь или восемь флагов, они горели отлично, с искрами. Юра Бехчанов тогда впервые прочел программные стихи молодого члена ДС (называть по-другому, пока на самом деле не падет коммунистическая власть, даже если это власть "бывших"; и пока не разгонят бывший КГБ, теперешнее МБР). Потом мы много их читали, я – так на каждом митинге, особенно после Вильнюса.

Пошатнулся и замер
Государственный строй.
Выше русское знамя!
Начинается бой.
Значит, время настало,
Значит, не промолчи,
Значит, надо орала
Переделать в мечи.
Значит, ляжем под танки
Под Кремлевской стеной,
Между штурмом Лубянки



И гражданской войной.
И когда-нибудь в полночь
Все начнется с нуля:
Будем красную сволочь
Вышибать из Кремля.
Меж развалин и пыли
Встанет взорванный Храм.
Пусть свобода России
Будет памятью нам.

Осталась огромная куча пепла. И ее даже не стали убирать перестроечные дворники.

В этот день нас не взяли. Но чаша терпения властей переполнилась. Флаги оказались последней каплей. Нас взяли 17 сентября, назавтра, на пикете, который стал последним пикетом ДС, каравшимся административно. Из царства административности мы перешли в царство уголовности.

Всех после составления протоколов отпустили, мы с Юрой Бехчановым остались на закуску. В конце концов отпустили и нас. Но мы не успели дойти до улицы. Нас вернули. Меня отвели наверх, куда явились какие-то важные и надутые генералы из МВД. При мне состоялся знаменательный телефонный разговор: "Бехчанова пустить по 166' ч. II? Дать 15 суток? Уголовное дело только против Новодворской? Все сейчас сделаем". Явились следователи и потребовали от меня невесть каких разъяснений, попутно излагая мне, какой я плохой человек и как власти меня за это накажут. Я письменно изобразила какой-то очередной антисоветско-антигосударственно-анти-горбачевский манифест.



Юре Бехчанову назавтра дали 15 суток, а меня на трое суток посадили в уютную одиночную камеру КПЗ 12-го о/м. Я не верила, что они способны на такую глупость, как начать дело по этой злосчастной статье. Это было еще глупее принятия Закона. Здесь им лучше было бы действовать по тактике: молчи, раз уж Бог убил. И друзья-милиционеры из 12-го о/м (у ДС было немало поклонников в МВД, они даже говорили, что если бы посмели, то присоединились бы к нам) тоже не верили. Три дня до обвинения мне казались фарсом. Впрочем, я была спокойна не поэтому. Я знала, что больше никогда и нигде не буду сидеть, что враги могут распоряжаться моей жизнью, но не моей свободой. Я задним числом решила выполнить знаменитое сталинское постановление и не сдаваться в плен. Все мы в ДС знали, что не будем в неволе не только размножаться, но даже и есть. Следствие в Лефортове – голодовка в случае нарушений статуса политзаключенного (одиночка, книги, возможность писать, заниматься, отмена личного обыска и т.д.). Следствие не в Лефортове – голодовка с первого дня, потому что мы можем сидеть только в политической тюрьме. После суда – смертельная голодовка в любом случае, до конца или до освобождения. Поэтому нам беспокоиться было не о чем.

Через три дня (естественно, с голодовкой) явился следователь из прокуратуры, сказал, что обвинение мне предъявят сегодня, а мы сейчас поедem ко мне домой делать обыск. Все возвращалось на круги своя... У меня дома следователи небрежно порылись в дээсовских печатных изданиях и нарыли еще с десяток оскорблений горбачевской чистоты. Понятые сидели в столбняке, а почему от такой жизни (с 1969 по 1993 год) не утопилась моя несчастная семья (мама и бабушка), это уже семейный секрет. Я набрала кучу вещей для тюрьмы. После обыска мы поехали в прокуратуру. Там меня ждала колоритная застойная личность следователя Сазонова, агента влияния КГБ в прокуратуре Москвы. Он имел дело с В.Альбрехтом, Ю.Гриммом, а у Володи Гершуни изъям даже те книги, которые не изымали



у других диссидентов, для своей личной библиотеки. Не всякому следователю прокуратуры Москвы доверяли вести дела по 190'. Для этого надо было работать если не в штате КГБ, то внештатным его сотрудником. Судя по его расчетливому византийскому коварству и иезуитской жестокости, он многому научился у своих коллег из легальных структур КГБ. Прокурор Москвы Пономарев был вполне ему под стать. Эта милая пара и сейчас обретается не в какой-нибудь тюрьме Шпандау, охраняемой союзниками, как то было с Деницем и Гессом, а в белом здании прокуратуры на Новокузнецкой. Наше знакомство началось прямо с пытки, даже без предварительных переговоров и ультиматумов.

Зачем Сазонову и Пономареву понадобилось делать судебно-психиатрическую экспертизу в конце 1990 года, когда поезд карательной медицины явно уже ушел? Тем более не в институте Сербского (для такой экспертизы надо было взять под стражу), а в экспертном отделении клиники Кащенко? Неужели они всерьез рассчитывали на повторение лунцевского диагноза и всех последующих стадий расправы среди бела дня, в Москве, да еще после всех административных арестов, явно переменявших пластинку? Верхом идиотизма было объявление об этой экспертизе в программе "Время" (или "Новости") на весь СССР. Друзей среди интеллигенции Горбачеву это не прибавило, тем более что от практики карательной психиатрии на словах они уже вроде отреклись. Конечно, они были не настолько наивны, чтобы на это уповать, тем паче со мной, с сухой голодовкой и с ДС, который тут же стал бы хватать их за икры.

Нет! Они скромно хотели сделать следствие пыточным, отдохнуть от меня хотя бы один месяц (столько длилась по правилам экспертиза), доставить мне тот максимум страдания, на который они еще могли рассчитывать в своих стратегических планах в 1990 году. То есть цель у них была самая скромная, намерения самые непритязательные. Бедняга Сазо-



нов и не скрывал, что ему надо совсем немного: просто помучить. Что я при этом испытала? Примерно такое же чувство, как при встрече с динозавром на пляже в XX веке. Ты твердо знаешь, что этого не может быть, что динозавры вымерли. Но один из этих покойников идет тебе навстречу, и зубы у него очень правдоподобные, и распахивается просторная пасть... Если бы прокуратура была чуть повыше, я, конечно, не удержалась бы и выкинулась с верхнего этажа. Даже по дороге я пыталась договориться с прокурорскими (как потом выяснилось, гэбистскими) мальчиками, чтобы они открыли запертую дверцу машины и дали мне выскочить на полном ходу и разбиться. Отнеслись они к этой просьбе вполне здраво: сказали, что они бы с удовольствием, но у них будут неприятности. Здесь негодование радикалов разделили даже "Московские новости" (это доброе дело зачтется Наталии Геворкян, она ведь и Сергею Кузнецову помогла) и не большой охотник до ДС Леонид Радзиховский.

Моя сухая голодовка была даже сверх нормы, потому что в дело включились депутаты Моссовета во главе с Виктором Кузиным, а корреспондент "Свободы" записывал мое интервью уже на следующий день, прямо в комнате свиданий. К тому же главврач больницы Владимир Николаевич Козырев не имел ни малейшего желания участвовать в этой мерзости и рассвирепел, считая, что его клинику пытаются "подставить" и опорочить. Весь персонал экспертного отделения негодовал. Они бы и без голодовки провели экспертизу за неделю, но здесь им пришлось уложиться в пять дней, работая и в выходные. Независимые эксперты от Юрия Савенко были хорошей страховкой, но с Козыревым и страховка была не нужна. На этот раз моя сухая голодовка доставляла врачам еще большие страдания, чем мне. Они чуть не плакали, и комиссия установила мою полную невиновность (то есть вменяемость и несокрушимое психическое здоровье).

К тому же диагноз 1970 года был опровергнут. Я знала, что это последняя экспертиза в моей жизни, что больше я не



согласюсь проходить ее никогда. (Если бы не это публичное заявление, суд бы так легко не отстал, ведь многострадальный Кузнецов проходил две экспертизы, в Свердловске и в Москве.) Вопрос Александра Подрабинека в день экспертизы, не надо ли мне что-нибудь принести, показал, как далеко ДС ушел от диссидентов. Саша думал, что меня в этом учреждении могут еще поддержать. Я была уверена и в результатах, и в завтрашнем освобождении, потому что дээсовцы сами решали, жить им или не жить. Если диссиденты вынуждены были терпеть, ДС не соглашался терпеть ничего и никогда. Отказаться терпеть – это и была ваша миссия.

Из дальнейшего нашего общения следователь Сазонов не вынес ничего, кроме слез. Не успела кончиться экспертиза, как он позвонил в клинику, поздравил меня и назначил допрос через день. Естественно, я ни разу не пошла к нему добровольно. За мной приезжали в шесть часов утра и тащили силой. На месте Сазонова я бы отстала, потому что весь допрос я ему хамила, как могла. "Сатрап" – это было самое мягкое выражение. Подписку о невыезде я не дала, и они это съели. Гэбисты вырастали как грибы у меня в палисаднике, когда я возвращалась вечером домой, чтобы обеспечить Сазонову очередную порцию оскорблений на завтра. Протоколы допросов несли бедному Горбачеву и несчастному СССР новые бедствия.

Результаты экспертизы были мной прочтены при закрытии дела, и оказалось, что мои претензии к советской психиатрии небезосновательны. Здесь ведь дилемма: или подсудимый хороший человек, идеалист. Тогда он псих. Или он нормален, но тогда он честолобец, актер, позер, интересант и т.д. Моя реабилитация сопровождалась такой характеристикой, что за границу с ней бы не пустили.



Я к тому времени уже разжилась многочисленными соучастниками моих преступлений. Здесь надо учесть специфику ДС. Мы действовали по принципу из фильма Кубрика: "Я – Спартак!". Это означало: если принят скверный закон, не критикуй его, а нарушай, и заставь себя судить, тогда закон скорее отменят. Если преследуют невинного, не защищай его, а соверши то, что ему инкриминируют. Встань рядом!

Дээсовцы вооружились лозунгами, и мы взяли на оскорбление Горбачева коллективный подряд. Положительно, партия оставила все дела и занялась честью и достоинством Горбачева. Подсудимые размножались, как кролики. Дела возбуждались пачками. Тамара Целикова в Твери, Лена Авдеева, Таня Кудрявцева, Павел Шуйкин, Евгений Фрумкин, Сергей Прилепский в Москве, и это только начало. Дела докатились до Казахстана. Бедный Горбачев и не подозревал, какую беду он накликал на свою бесталанную голову. Причем на допросы никто из ДС не являлся. Таню Кудрявцеву, весившую не больше 40 кг, принесли в прокуратуру на руках в теннисных туфлях (зимой); в другой руке оперативник нес ее пальто. И хотя носить Таню было одно удовольствие, прокуратуре это дело надоело, и до суда его не довели. Прилепского искали год, хотя он жил в Москве и не скрывался. Кому охота найти дээсовца? Себе дорожке! Лучше потерять! Тамару Целикову судили с интервалами полтора года и в конце концов недавно оправдали (уже после того, как Горбачев ушел на незаслуженный отдых). Судить за оскорбление бывшего президента бывшего государства по бывшему закону – это вполне в советских карнавальных традициях. Женю Фрумкина Митюшин во Фрунзенском суде оправдал уже после августа. Самая дикая история произошла с юной Леной Авдеевой. Ее в наручниках из прокуратуры (она с ними отказалась разговаривать) на два дня отправили в Бутырскую тюрьму. Скандал вышел восхитительный, плюс, конечно, сухая голодовка. Мы не успели как следует напротестоваться: Лену отдали нам обратно, натерпевшись от нее выше нормы. Судья Шереметьев во Фрунзенском суде от нее рыдал и плакал: Лена даже не пришла за обвинительным заключением. Советское



правосудие для нее не существовало, и оно не знало, как реагировать. Один оперативник с кем-то из ДС поделился: "Больше всего не люблю Авдееву арестовывать. Придешь к ним домой, а на тебя еще собаку натравят. Авдееву надо на руках тащить, а она брыкается. Лучше рэкетиров брать!" Когда Лену принесли на ее суд, она весь процесс читала Кафку (тоже "Процесс"). Суд чувствовал себя очень глупо, потому что подсудимая даже не смотрела в его сторону. Это был уже февраль 1991 года. Адвоката Лене дали насильно, она его игнорировала. Прокурор был так потрясен, что о Горбачеве в своей речи и не вспомнил, говорил только о Лениных плохих манерах и неуважении к суду (своя рубашка ближе к телу). Тысячу рублей штрафа с Лены они получают на том свете угольками, как и мои семь тысяч. ДС выигрывает и черными, и белыми, но всегда – нокаутом. Далее я устроила Горбачеву агитпоездку. Наплевав на подписку о невыезде (я же ее не давала), я поехала на три недели в методическое турне Иркутск-Владивосток- Омск. И уже потом, читая дело при его закрытии в декабре, узнала, что прокуратура послала людей задержать меня в аэропорту. Но, как водится, вовремя не пришел кассир, не выдал командировочные, а даром советские каратели и пальцем о палец не ударят. Так что московская группа захвата проворонила меня в Москве (они явились на московскую квартиру в 7.00, а меня товарищи увезли в 6.00) и не долетела до Иркутска, а местные власти не посмели брать на своей территории (я еще в Свердловск заехала!) и соврали, что не нашли. И везде были шикарные митинги, и честное имя Горбачева подвергалось поношению по всему Транссибу. Местные дээсовцы с соответствующими плакатами требовали возбуждения дел против них, но местные власти были поумнее московских и не искали неприятностей на свою голову. То есть я надругалась не только над Горбачевым, его строем и его СССР, но и над судом, прокуратурой и советскими законами, а в этом был великий соблазн. Нас тронуть было чревато, ибо мы тут же лезли в бутылку и в петлю, а не трогать – означало сказать: "Все дозволено". Когда я ехала обратно на поезде "Россия" (шесть суток!), на каждой станции к начальнику поезда подходил гэбист (мне все рассказывали) и проверял мое наличие в составе. Московский ДС ждал моего ареста на вокзале (а



ведь за такие штучки полагалось брать под стражу) и поэтому пришел меня встречать с цветами и почти в полном составе.

Сазонов и К все проглотили и даже отказались включать в дело новые сибирские и дальневосточные эпизоды (не смотря на статью в "Рабочей трибуне"), опасаясь, что иначе дело не кончится никогда. Со свидетелями по делу было тоже глухо. После того как Эдуарда Молчанова, редактора "Свободного слова", принесли к Сазонову в тоненьком тренировочном костюме и в тапочках и положили на коврик перед столом (он даже одеваться дома отказался, когда к нему ворвались), а Сазонов только и мог, что попросить своих громил отнести его обратно и положить, откуда взяли, наши прокураторы решили за свидетелями из ДС не гоняться. Пять томов дела пошли в Верховный суд, и Сазонов надеялся, что они к нему не вернуться. Никто не верил, что после таких треволнений кто-то еще захочет продолжить турнир в суде.

Между делом состоялся V съезд ДС, где под "Письмом двенадцати" появилось больше пятидесяти подписей, включая подпись гардеробщицы Дома культуры, где мы заседали.

А в середине февраля мои и вообще дээсовские акции после вильнюсских злодейств довели-таки власти до беды: суд то ли надо мной, то ли над Горбачевым начался. Под суд выделили громадный зал Мосгорсуда на верхнем этаже, где обычно устраивали показательные процессы над шпионами, валютчиками и диссидентами. ДС веселился как мог, я обновила красную кофточку (вместо красной шапочки), а журналисты радовались, как дети. Их набралось великое множество. На почетном месте сидел "Коммерсантъ", тоже попавший в подсудимые за публикацию моего плаката. Коммерсантовцев трудно было напугать.



Назначенный мне адвокат оказался честным человеком и мирно ушел после моего от него отказа. Далее роли распределились следующим образом: судья Гусева тщетно пыталась заставить меня и дээсовцев вставать при ее появлении, ОМОН в зале, на лестнице и на улице балдел от скуки и тоски, журналисты, депутаты и неформалы ловили кайф и хохотали от каждой реплики, а я читала лекции по истории и политологии, объяснив суду, что судиться не собираюсь, а пришла сюда лекции читать. Опытные диссиденты были настроены мрачно. Даже ветеран движения Ася Лащивер считала, что прокурор будет просить два года, а дадут мне один. Это означало голодовку и смерть, ибо на кассацию я бы подавать не стала. Но смерть в ДС не являлась даже поводом для внеочередного партсобранин, тем паче для печали. Всем было ясно, что моя смерть убьет и Горбачева вместе с его перестройкой. И всем было ясно, что делать потом: заставить их убить всех членов партии. ДС могли похоронить только в братской могиле. Нетленные документы, вынесенные на магнитофонных лентах из зала суда, свидетельствуют о чисто академическом подходе ДС к данному процессу. Видеофильмы мои товарищи вообще смотрели со скамьи подсудимых, и судья уже не стала их гнать: "Пусть сидят, если им нравится". Несчастливая советская власть не смогла из себя выжать ничего более страшного, чем требование прокурора дать мне два года с отсрочкой на два года (как будто было не ясно, что я тут же пойду оскорблять Горбачева опять). После последнего слова я заявила, что готова была платить по предъявленным мне счетам, но поскольку предъявить их мне не смеют, то мне в этом зале больше делать нечего, их приговор меня интересует, как прошлогодний снег, а текст пусть пришлют мне на дом. Я и в самом деле пошла к выходу. Вдогонку мне суд срочно закрыл заседание (дело было в пятницу), а чтение приговора назначил на понедельник. В понедельник я в суд не пошла. Можно было пожалеть судью, читавшую приговор пустой скамье подсудимых, не смея не только взять под стражу, но даже силой доставить меня в суд. По горбачевскому делу меня оправдали ("Коммерсантъ" радостно выпустил статью "Горбачева можно оскорбить, только если матом"), а за флаги дали два года исправительных работ в "местах, определяемых МВД", с



вычетом двадцати процентов заработка. Легче было это декларировать, чем заставить методиста ДС исполнять такой приговор. Видимо, поэтому приговор претерпел следующие превращения:

1. Прокурор Пономарев, болея душой за Горбачева, подает на пересмотр дела в Верховный суд.

2. Верховный суд России утверждает оправдание, а два года работ заменяют двумястами рублями штрафа, которые они не получили до сих пор.

3. Степанков обжалует приговор в Президиуме Верховного суда.

Дальнейшие приключения приговора совпали с делом по 70-й статье, поэтому оставим их на время.

Как все радикальные партии, ДС не избежал общей участи. Слабые сходили с дистанции сразу, трусы в ДС не задерживались. К маю 1991 года крутизны нашего маршрута не выдержали даже главный редактор "Свободного слова" Э.Молчанов, Игорь Царьков и мой будущий "сообщник" по 70-й статье Владимир Данилов, которого считали храбрецом (он ведь подписал "Письмо двенадцати"). Вместо того чтобы просто уйти или бороться внутри партии конституционными методами, эти трое бывших наших товарищей, много сделавшие для ДС, кончили совсем плачевно и некрасиво. Для начала Молчанов стал печатать в партийной газете совершенно советские, в стиле "Труда" и "Правды", статьи о подписантах "Письма двенадцати" и членах либерально-революционной фракции ДС, к тому времени мною созданной. В этих статьях нас обвиняли в



намерениях развязать гражданскую войну, совершить теракты и прочее, полностью во вкусе 30-х годов.

Потом, кстати, эти статьи легли в мое дело по статье 70 как обвинительные материалы. Во многом возбуждение дела было спровоцировано публикациями "Свободного слова", нашей собственной газеты! Но от предательства никто не застрахован. Игорь Царьков печатал и распространял эти материалы 55-тысячным тиражом. По своему положению в партии Царьков, Молчанов и Данилов держали в руках всю технику и все материальные средства. Они были убеждены, что радикальную часть партии посадят, и не намерены были делить с нами тюремные камеры. Им хотелось более спокойной жизни в зарегистрированной партии, в общем ряду с ДемРоссией. Ходить по лезвию бритвы они больше не хотели. В связи с этим им пришла в голову удачная идея: расколоть партию, увести за собой послушную им часть и забрать все деньги и всю технику. Когда это не удалось, они увели с собой только восьмерых членов ДС (и их загубили, потому что ДС(ГП) – гражданский путь, который мы называли ДС(ГБ), существовал несколько месяцев, а потом эти восемь человек поняли, куда попали, и вообще бросили всякую деятельность, а троица провокаторов рассорилась, после чего Царьков и Молчанов пошли в одну сторону, а Данилов – в другую). Деньги были для нас потеряны, а технику (ту часть, которую они не спрятали заблаговременно) пришлось отбивать, от чего мы чуть не умерли, настолько это было противно и нам несвойственно. Многие члены ДС зачислили после этого Царькова в офицеры ГБ, но эта версия кажется мне слишком лестной и для него, и для нас. Не каждый трус и эгоист работает на ГБ штатно, хотя эти качества идут спецслужбам на пользу. Некоторое время в стране выходили два "Свободных слова" – партийное и молчановское, но краденые деньги без идей не пошли им впрок. Грустно терять товарищей, но ведь и истории с Азефом, Гапоном и Ванечкой Окладским больно ударили по нашим предшественникам. Приватизацией имущества партии занялись сначала в ДС, а уже потом в КПСС. Мы и здесь всех опередили.



А между тем "секира уже лежала при корне дерева". В конце марта дело по новой формулировке статьи 70 (призывы к свержению строя) было возбуждено. Конечно, мы ничего об этом не знали – до поры до времени. 13 мая после долгого перерыва член ДС снова получил сутки за пикет. Это была Леночка Авдеева, вызывавшая у судей патологическую ненависть своим нонконформизмом (меня уже боялись).

Судили около 10 человек, почти все были мужчины. Дали по 200- 300 рублей штрафа. А Леночке – 10 суток. Я не могла отпустить Леночку, мать которой как раз была моей ровесницей, туда одну. Она успела бы умереть от сухой голодовки за эти 10 суток, ведь нас там успели почти забыть и могли нарушить статус политзаключенного (кто на новенького?), не зная Лену и ее возможностей. Мне отказались давать арест, тогда я порвала Леночкино определение, бросила клочки судье в лицо и, схватив с окна цветок в горшке, запустила им в стекло, разбив все окно вдребезги. У нас не хватило людей отбить Лену, хотя я и это попыталась сделать. После чего я заявила судье Шереметьеву и председателю суда Агамову, что если они мне 10 суток не дадут, то я разобью все стекла на четырех этажах их суда. Со стеклами уже тогда были проблемы. Судья Шереметьев спросил: "Сколько вам?" – и дал просимое. Леночка была спасена. Я знала, что со мной ее не тронут и статус будет соблюден. На этот раз голодовка была мокрой, я ведь не хотела досрочного освобождения, мне надо было опекать Лену. Лена ела вообще, а я пила. Май был холодный, и мы едва не замерзли насмерть в камере, поделив надвое мои пледы, ватники и прочий скарб. Неопытная Лена не имела еще дома необходимого инвентаря.



«И ДАЖЕ ДЛЯ ЭТОЙ ЭПОХИ ДЕЛА НАШИ ЗДОРОВО ПЛОХИ»



Я всегда говорила своим молодым товарищам по партии, что мы имеем дело не с репрессиями, а с имитацией репрессий для домашнего спектакля. Когда ведут следствие, а подследственный его бойкотирует на свободе и выбирает, ходить или не ходить ему на суд, тогда еще нет боя, нет объявления войны, а есть 155-я "последняя и решительная" нота протеста. Это просто учения, съемки из песенки Николки Турбина, от которых никто не умирает. "Тяжело в учении, легко в бою" – это чушь. Старые фронтовики точно знают, чем учения отличаются от войны. Я говорила: "Когда это начнется по-настоящему, оно начнется с ареста, и не на 15 суток. И не милиция будет этим заниматься, а КГБ".

Надо отдать должное этой милейшей организации: они начинают всегда неожиданно и эффектно. "Арестовал – удивил – победил". КГБ очень любит выскакивать из засады, прыгать с дерева на плечи, как рысь. У каждой охоты свои законы. Дичь должна ходить опасно. Особенно в СССР.

Не знаю почему: то ли из-за весеннего авитаминоза, то ли из-за жуткого холода в камере, то ли из-за нервозности с горбачевскими делами (суд закончился только 1 марта, все-таки две недели дикого напряжения), но голодовка шла очень тяжело, даже Лена, глядя на меня, все время угрызалась: вместо того чтобы выполнять свои обязанности дуэньи, я на четвертый день впала в транс и в весеннюю спячку. Выходя из некоей комы, я лихорадочно писала статьи. И Лена тоже. У нас был просто журналистский семинар. И вдруг дверь открылась, и меня попросили "к руководству". Я подумала, что опять наш май-



ор хочет развлечься светскими разговорами. Впрочем, я рада была согреться в его кабинете. Однако в дежурной части у всех офицеров был такой вид, как будто они хором встретили тень отца Гамлета. Меня провели в маленький красный уголок на тридцать мест, и мне навстречу встал довольно молодой джентльмен (лет тридцати пяти) в серой куртке, в меру подтянутый и в меру элегантный. Вид у него был самый приветливый. Он честно и откровенно заявил, что он капитан Андрей Владимирович Яналов, следователь КГБ СССР (!) . Вот так, братцы- кролики! Какая честь! Даже не из Московского управления, а из КГБ СССР. Я присмотрелась и увидела в его глазах знакомое хрустальное мерцание всеведенья. Между нами произошел следующий обмен мнениями:

- Что это вы вдруг решили выйти из подполья? А мы уж думали, что вы самораспустились... Медведь в лесу сдох?

Яналов (в тон):

- Сдох, сдох, Валерия Ильинична. "Письмо двенадцати" убило нашего медведя.

Тут и оказалось, что в конце марта заведено дело, причем КГБ Союза, причем по 70-й статье (эти самые публичные призывы к свержению строя), да еще по части III! То есть групповое дело, семь лет! Вот здесь я испугалась, и здорово испугалась. Под письмом 12 подписей! Значит, могут арестовать не только меня, но и моих драгоценных дээсовцев! Одно дело – объяснять товарищам, что их долг – умереть за Отечество, другое дело – видеть их гибель. На меня пахнуло могильным холодом, и это была братская могила! В этой ситуации надо было делать одно: попытаться, как куропатка, увести охотников за собой, подальше от гнезда. И тут меня оглушило: Леночка! Маленькая Леночка! Ее подпись тоже там стоит, да еще из первых! Она же здесь, под замком, у них в руках! Она же не сумеет уйти,



здесь и возьмут... Понятно, что меньше всего меня волновала собственная участь.

Я знала, что часть II требует группового привлечения. Андрей Владимирович Яналов смотрел на меня даже с некоторым сочувствием, по крайней мере, без злорадства. У меня содалось ощущение, что его роль ему претит, что он действует по принуждению, хотя он классный игрок на том корте, где нам предстояло сражаться в ближайшие 2-3 часа. Он был хороший дуэлянт, и с ним можно было смело выступать на олимпийских состязаниях. За три часа он начерно прогнал все следствие по главным пунктам. И видно было, что он не любит легких побед, ценит во враге спортивные данные и явно увлекается гессевской игрой в бисер. Он прекрасно подавал мячи, а я вовремя их ловила. Взять все на себя, закрыть все амбразуры, вывести незаметно из-под удара всех остальных, а в промежутках доказать в продемонстрировать свои пламенные чувства по отношению к строю и СССР, да еще вмонтировать эту лирику в деловой протокол – задача непростая, если от слабости темнеет в глазах. Допрашивать в таком состоянии, когда противник не в форме, – это входит в правила игры, застать врасплох – это тоже из условий поединка. Какое счастье, что я сохранила черновик "Письма двенадцати"! (Я намеренно его сохранила, на случай ареста, чтобы доказать свое авторство; я же знала дээсовцев и нашу фирменную методику "Я – Спартак!", что означало одно: каждый из двенадцати возьмет авторство письма на себя.)

Мой капитан любезно посоветовал мне выйти из голодовки, чтобы получить удовольствие от наших бесед, обещал позвонить здешнему руководству и навеститься еще раз. Видно было, что мой класс игры ему пришелся по вкусу.

Когда я вернулась в камеру, оказалось, что Леночку допрашивал другой гэбист! Конечно, она заявила о своем ав-



торстве письма и редактировании криминальной газеты нашей фракции ревлибов или либревов (революционный либерализм – это неологизм ДС, и лексический, и понятийный!) "Утро России"... С дээсовцами трудно делить плаху: каждый тянет ее к себе. Через сутки в острог попал за митинг в нашу защиту один новичок-дээсовец. Он успел броситься к нашей двери и прокричать:

- У вас обеих дома были обыски, приходили из КГБ, на складе обыск был тоже, Данилов в Лефортове!

Его тут же увели в другое крыло, но информацию мы получили. В арест Данилова мы не поверили: слишком уж это было круто, особенно после того как он письменно отмежевался от нашей фракции и стал (пока устно) нас топить на молчановский манер. Но ведь склад эти одиннадцать раскольников украли! А на складе был компромат: "Утро России", даниловский "Антисоветский Кривбасс", куда до разрыва с организацией он успел тиснуть "Письмо двенадцати". А тираж был 15 тысяч! Бедным мошенникам могло выйти боком их воровство. К тому же на черновике "Письма двенадцати" стояла фамилия И.Царькова, один раз зачитанная на площади 13 января. На следующий день он опомнился и снял из страха свою подпись. Получилось очень некрасиво, но теперь он мог пострадать. Я выгораживала его как могла. Сказала, что подпись стоит по ошибке, что он никогда своего согласия не давал, что вышло недоразумение, что это моя вина, что потом эту подпись не печатали (что и подтвердили найденные при обысках документы). Царькова даже не вызвали на допрос. ДС поступил с ним честно, не так, как он с нами. На вопросы об остальных подписях я могла ответить только одно: "На этот вопрос я отказываюсь отвечать по морально-этическим соображениям". Мы с Леной надеялись, что Данилов просто был отвезен в Лефортово на допрос и отпущен. Его арест означал бы, что он пропал из-за нас (мы знали, что он этого не потянет, сломается). К тому же его арест означал и мой – на сто процентов, и Ленин – на семьдесят. Я стара-



лась ободрить Лену, рассказывая ей, как хорошо и тепло в Лефортове. Лену сломать не смог бы никто, но этот вариант ей не доставлял удовольствия. А наши охранники притихли. КГБ вкушал беднягам панический ужас. На нас смотрели, как на покойников. Самый вредный майор – замполит – разговаривал ласково и демонстрировал своих золотых рыбок. Мы себя чувствовали совсем как в камере смертников. Я попыталась выйти из голодовки, но была не в состоянии есть то, что давали в нашем остроге, а давали там ужасную дрянь. Так что пришлось ограничиться тремя кусочками сахара в день. Как водится, свой день рождения я встретила в камере. Сорок один год – дата паршивая.

Мои поклонники из КГБ позвонили в острог, поздравили меня через начальство с днем рождения и передали, что непременно к нам заглянут. А начальник принес мне три огромных красных пиона прямо в камеру (их приносили друзья из ДС вместе с едой, ведь добряк Валерий Витальевич, предвидя мой арест, – а я ему сказала, что турниры с КГБ надо проводить на ясную голову, – позвонил ко мне домой и заказал передачу, но принесли ее в воскресенье, его не было, а без него инструкцию нарушить не решились; пионы дээсовцы оставили на пне, их подобрали, а в понедельник Худяков принес их мне). Лена не хотела даже ехать в душ – зачем прихорашиваться для гэбистов? Но я ее убедила, и мы съездили. По дороге мне очень хотелось устроить Лене побег, но охранники, жалея ее младость, тем не менее своей шкурой дорожили еще больше и не дали ей уйти, как я ни просила.

А между тем наступил последний день нашего ареста. Мы решили, что тревога была ложная, что это повторение горбачевского амбулаторного дела, что Лефортово нам не светит: не посмеют, поезд ушел. Мы предвкушали горячую ванну, домашние деликатесы (а я вообще была слаба, как вегетарианская кошка) и глумление в процессе фиктивного следствия над КГБ. Но где-то в 10 утра распахнулась дверь, и очень бледная



надзирательница сказала мне: "Собирайтесь с вещами". Это не было освобождение, освободить нас должны были в 16 часов. Все было ясно и без слов. Хорошо было уже то, что Лену оставляли. Я вздохнула с облегчением, а Лена обиделась на ГБ. Надавав Леночке кучу инструкций для партии, я собрала свои сумки (партийные ватники и теплые вещи должна была отвезти домой Лена). Я взяла только то, что нужно для Лефортова: белье, книги, тапочки, умывальные принадлежности, ручки. В дежурной части я нашла испуганных до смерти офицеров спецприемника (бедный майор Худяков даже спросил с надеждой: "Может, мы когда-нибудь еще увидимся?" "Теперь уже никогда", – ответила я) и мрачного Яналова, прячущего от меня глаза.

- Поедем к нам, – печально сказал он и любезно взял мою сумку.

- В нашей стране это несущественно, но все -таки покажите какой-нибудь ордер, – напомнила я.

- В Лефортове покажем, – со вздохом ответил интеллигентный капитан.

Еще никогда меня не арестовывали с меньшим удовольствием. У белой "Волги" пасся еще один гэбист молодежно-спортивного вида. Плюс шофер. Когда тебя КГБ арестовывает по 70-й статье в третий раз, это уже имеет вид и вкус некой рутины. У Солженицына так же описывается арест "повторников" в 1947-1948 годах. Они не спрашивали "за что" и не интересовались "надолго ли", но просто совали пачку махорки в лагерьный сидор и шагали за порог. В третий раз бравада неопита уступает место небрежной, элегантной, но еще более дерзкой светскости завсегда. На прощание я обнюхала клумбу с нарциссами. Я знала, что больше никогда не увижу цветы: в Ле-



фортове их не было, а из Лефортова я решила не выходить. Красиво провести следствие, выгородить всех, кого смогу, свалить все на себя, сделать блестящий политический процесс на уровне Каннского фестиваля. После приговора объявить голодовку и умереть и тем самым сохранить свою свободу. Мы ехали молча. Я прощалась с городом, а тактичные враги не мешали и не злорадствовали. Мною овладевало знакомое ледяное спокойствие, похожее на анабиоз. То есть я всегда следовала рецепту Солженицына из "Архипелага": после ареста надо сказать себе, что жизнь кончена, что чем скорее придет смерть, тем лучше. Ты умер для родных, и они умерли для тебя. Имущества у тебя больше нет. Тело – твой враг, ибо оно реагирует на страдания. Ничего не остается, только воля и честь. Совет хорош и прост в эксплуатации. Обеспечивает абсолютное торжество в любой ситуации. Земля уходила от меня все дальше, на нее будто набросили одеяло. Я помнила, что в лефортовской камере будет полнейшая тишина, как в склепе или батискафе. Мы проехали мимо моего дома. Было ли это прощальным подарком от ГБ или планировалось как психологическое воздействие из арсенала пыточных приемов? Даже если последнее, то это был в рамках нашего поединка законный с их стороны прием. Так же, как и арест в день освобождения, после десяти дней голодовки.

Лучший стиль поведения в Лефортове – это делать вид, что приезжаешь на отдых в южный пансионат западного туристского класса, приезжаешь как знаток и ценитель истинного сервиса, приезжаешь отнюдь не по этапу, а добровольно и ожидаешь, что персонал будет польщен оказанной его заведению честью. В обращении – снисходительная приветливость без панибратства, пристрастное отношение к сервису (можешь дать на чай, а можешь и не дать), дистанция, но при хорошем настроении и искренней расположенности к такому проведению досуга. Юмор, незлая сатира, светскость в отношении к грядущему процессу, как к бенефису у народного артиста СССР (чуть-чуть волнения, но при уверенности в любви публики и в своем мастерстве). А следствие – это репетиция спектакля. Ты режиссер, ты первый состав, ты драматург, задумавший эту



пьесу, а ГБ – это твой реквизит, твоя массовка, твои костюмеры и осветительный цех. Им надо объяснить задачу, они должны качественно сыграть свою роль, чтобы не испортить спектакль. При таком отношении к "делу" уважение и сочувствие врагов тебе обеспечено, если, конечно, это достойные враги. А мне достались просто прелестные противники. Андрей Владимирович Яналов и Сергей Борисович Круглов (его шеф). У нас как-то сразу установились отношения хемингуэевских персонажей: Старика и Рыбы из повести "Старик и море". "Рыба, я тебя очень уважаю и люблю. Но я тебя убью, прежде чем придет вечер". А если бы Рыба сама, добровольно, без наживки, насильно лезла к Старику на крючок? Ему было бы еще хуже. Моим следователям было очень плохо. Они не вели политических дел до этого и сочувствовали про себя и даже вслух. Впрочем, слабого они могли добить. Несчастный Данилов был классически сломан. Они не хотели его брать (мой арест был предопределен не ими), но он очень лез на рожон (я вас не признаю, на допросы не приду, я – антисоветчик). Для такой позиции надо иметь внутренние силы. Глоткой здесь взять нельзя. А если человек не готов к смерти, если он хочет жить? Тогда в Лефортово ему лучше не попадать. Бедный Данилов заявил: "Сидеть не буду, не хочу. Сухая голодовка". И они сделали проверочку: применили искусственное кормление. Это, конечно, пытка. Но в рамках поединка с фашистской структурой они вольны применять такие методы, чтобы вас сломать. Надо держаться, надо заставить их отступить. А Данилов после первого сеанса сам уступил. Старый и больной Сахаров в Горьком дольше терпел! Голодовка держится до смерти или до удовлетворения требования. Иначе достоинство не сохранить. А оно дороже жизни. Бедняга далее сказал: "Я покончу с собой". Ну, надели наручники. Живет! Потом сняли И издевались открыто: "Ну, где ваша голодовка? Ну, где ваше самоубийство?" Через два месяца Данилов уже соглашался дать подписку о невыезде, ходить на допросы, отказаться до суда от политической деятельности... Он уверял (я видела протоколы допросов и "имела удовольствие" от очной ставки), что никакой строй свергать не хотел! Что я чуть ли не силой, обманывая людей, собирала подписи под "Письмом двенадцати"... Мою позицию (хотела свергнуть и на том стою) он пытался



объяснить моей психической неуравновешенностью (в письменной форме!). Боже, как он трусил, как выгораживал себя! Он даже подтвердил подпись Лены Авдеевой под "Письмом двенадцати" (а это уже предательство, можно подтвердить только свою подпись). Нельзя судить человека за слабость, проявленную в таких условиях? КГБ применил безнравственные средства? Нет ничего безнравственнее трусости! Скажите спасибо, что в КГБ не пытаются электротокком (с таким народом можно бы и это себе позволить). Тогда что было бы? А ведь надо противостоять и такому прессингу, иначе грош цена и борцу, и его идее. Мне предстояло делить с Даниловым скамью подсудимых, и это меня не вдохновляло. Он уже не был членом ДС, но в глазах несведущих людей фиктивный ДС(ГП) был все равно ДС. Мне пришлось бы приложить все силы, чтобы избавить партию от позора. Я сумела бы это сделать за счет своего поведения на суде, но Данилов портил мне всю обедню. Однако для него все было сделано по высшему разряду. ДС защищал его наравне со мной, забыв временно про его злые дела. О его трусости никто не знал (я запретила своему адвокату говорить товарищам об этом, чтобы не компрометировать Данилова до суда и не вызвать нежелание его защищать: ДС не прощал отступничества). Я брала на себя всю ответственность и за действия склада, дала право адвокату Данилова топить меня, чтобы выгородить его. Следователи меня заверили, что Данилову дадут условный срок. (Мне они честно сказали, что я получу максимум. Другого я и не хотела.) Когда я увидела Данилова на очной ставке, он был так похож на мокрую курицу и имел такой грустный, затравленный вид, что мне стало его жалко. Я не сказала ему, что о нем думаю. Напротив, попросила прощения за то, что втравила его в эту историю. Проклятая интеллигентность подвела! Сколько раз я просила гэбистов пожалеть Данилова и выпустить его! Но они почуяли наживу: раз уступил, значит, стоит ломать дальше. Один раз проявить в ГБ слабость – это значит, что тебя не оставят в покое, пока не доломают, не растопчут до конца. Человек не должен, не имеет права быть слабым. Иначе поступят с ним, как с травкой полевой.



Пресса этим нашим арестом развлекалась как могла. "Экспресс- хроника" защищала вяло, сквозь зубы. Хельсинкская группа написала роскошное письмо в защиту, но подписи Ларисы Богораз под ним не было. Зато подписались Лев Тимофеев, Галина Старовойтова, Юрий Орлов. Это было смело и достойно. Даже церковь (настоящая, а не советская госструктура Русской православной церкви) встала на нашу сторону. "Коммерсантъ" иронизировал, "МК" злорадствовал. "МН" опубликовали заметку по фактам, но без горячего сочувствия и вообще притихли. Юрий Афанасьев готов был дать за меня поручительство. Но я заранее сунула следователям заявление, что деятельности, которую мне вменяют в вину, не прекращу и добровольно на допросы ходить не буду. С такими предпосылками под залог не освобождают. Царьков и Молчанов, зная, что их статьи используются ГБ в ходе следствия как обвинительные документы, не повесились, и не застрелились, и даже не раскаялись. Они продолжали публиковать опусы в том же духе и лить на меня грязь – и обвинять пожестче, чем в предварительном обвинении, предъявленном мне через 10 дней. Я знаю, что это несчастные, погибшие люди, что я втянула их в непосильную для них борьбу, что ДС сам развратил полной бесконтрольностью редактора Молчанова и сделал из него диктатора, что Игорь Царьков был бы хорошим ученым и честным тружеником, если бы я не втащила его в ДС. Но я не в силах пожалеть, отвращение уничтожает жалость. И я не могу вспоминать их первоначальное достойное поведение, потому что кончили они плохо и этим перечеркнули все. Протопоп Аввакум сказал: "Начный блажен, а скончавый".

Зато мне повезло с адвокатом. Адвокат "всея ДС", фирменный наш защитник из Екатеринбурга, анархист и диссидент Сергей Леонидович Котов, которого одного я только и могла взять в свою команду на следствии. Он не ныл, не выгораживал. Он солидаризировался. Он доказывал, что народ имеет право на восстание и свержение строя, а я имею право его к этому призывать. В Лефортове в нашем боксе на первом этаже ("кабинеты" адвокатов) я приняла его в ДС, после чего след-



ствие сразу стало многопартийным: два члена ДС на двух членов КПСС. Следователи предупреждали, что за такой метод защиты суд посадит его самого вместе со мной. Сергею было не привыкать: в деле Тамары Целиковой он уже поимел 10 суток. Сергей отовсюду вытаскивал разные фрукты, сладости, витамины, котлеты и куриные ноги – из-за пазухи, из карманов, из папки с бумагами – и скармливал мне. Даже и на допросах! На допросы он стал ходить с сумкой провизии. Следователи не противились, наоборот. Смертники имеют право на небольшие прихоти.

В июне я написала в своей камере "Лефортовские записки". Они были доставлены на волю и продавались на Пушке в нашей газете "Свободное слово". Их чуть не опубликовала еще до августа "ЛГ" (ей не дали свидания со мной, чтобы обсудить кое-какие сокращения). Зато все было опубликовано полностью ею же в начале сентября. Рвался и "Огонек", дабы взять интервью. Мои следователи пустили бы и его, и "ЛГ", но "руководство не позволило". Вообще по сравнению с глухим мешком 60-80-х годов следствие-90 выглядит празднично и нарядно. Можно читать кучу записок от товарищей, направлять деятельность партии, писать ответы. Можно давать интервью, и все это будет вынесено на диктофоне из тюрьмы. Можно писать и передавать кучу статей, что я и сделала, снабжая щедро партийную прессу и Самиздат. Как, вы спросите? Какая здесь высокая технология? Увы, еще не вечер. Мне может понадобится этот способ на четвертом заходе на 70-ю статью. Так что еще не время распахивать душу и делиться рецептами. Кто собирается в Лефортово, тому я лично на ушко могу сказать. Мне было легко перестать думать о жизни: ведь смерть была единственным способом окончательно искупить свою вину перед Ильей Габамем, Анатолием Марченко и Юрием Галансковым. А вина была велика: я выжила, а они – нет. Я не могла роптать, только сам процесс перехода очень тяжел. Трижды переходить барьер от жизни к смерти, а потом шагать назад – это шок. Когда человек покончил счеты с жизнью, ему легче не возвращаться, тем более если его смерть непоправимо компрометирует власть и да-



ет жизнь его идее. "Истинно, истинно говорю я вам, что если пшеничное зерно упадет в землю и не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода". Иисус знал толк в диссидентстве. То есть я дорожила смертью такого рода как зеницей ока. Это была та самая "грозная радость" – самое темное место у Александра Грина. Это мне нужен был этот процесс, а не КГБ. Он был нашей дээсовской затеей. Мы с Сергеем Котовым вели дело так, как будто был у нас некий кооператив, взявший подряд на статью 70-ю. Правда, в число прибылей входила моя смерть. Мне было лучше всех, Сергею – чуточку не по себе, а следователям – совсем тяжко. Они совершенно не хотели моей смерти, но понимали, что будет после вынесения приговора. Они слишком уважали мои убеждения, чтобы предлагать сдать-ся. Они знали, что это бесполезно. Они и не хотели капитуляции. Я им даже предложила в конце написать себе окончательное обвинение без их участия и в большем объеме, чем напишут они сами. Естественно, на допросах я тянула одеяло на себя. Все, в чей могли обвинить других членов ДС, я хапала себе и весьма хитроумно, так что опровергнуть было сложно. Я говорила Сергею (при наших следователях): "В день закрытия дела, когда мы его прочтем, принесешь торт и шампанское, устроим вечеринку, отметим это дело в нашем дружном СП". Следователи чуть не плакали. Они поняли все, что я им хотела сказать. Конечно, такое поведение с моей стороны было жестокостью, почти вивисекцией, но иначе нельзя показать другую сторону медали и обезоружить врагов, не причиняя им вреда. На допросах у нас частенько бывали киносеансы. Мы смотрели видеофильмы. Наши митинги в январе 1991 года, мои поездки по стране, мои выступления и интервью. Все фиксировалось, они все время шли по следу. ДС был заранее обречен. Впрочем, мы это знали. Мы предвидели, что после бала будет казнь. Это была умеренная и справедливая плата, по крайней мере, в системе наших координат: отчаяния и горечи. С моим криминальным выступлением в Коврове получилась вообще потеха. У местных агентов была скверная техника. Владимирская ГБ не смогла расшифровать кассету и послала ее в Москву. Но и московская техника потянула только отчасти. Мои следователи сложили к моим ногам несколько магнитофонов, но восстановить запись я



смогла только по памяти, ведь в текст могли не войти самые криминальные места. А я хотела, чтобы они вошли! Я знала, что все это услышат на открытом суде. За такое великолепие, за такую презентацию ДС, за такой глоток свободы можно было отдать жизнь не однажды.

Если дело по 70-й статье против участников демдвижения летом 1991 года было тестом, своеобразной реакцией "RW", то результаты показали, что общество больно сифилисом в последней стадии, гниет заживо, и что у него отвалился нос. Что народу будет все до лампочки, мы это в общих чертах уже усвоили. Но что к гибели ДС в застенках КГБ окажутся равнодушными демороссы, журналисты "МН", "Независимой", "Мемориал" и прочие "нонконформисты", включая Сергея Ковалева из ВС и "Экспресс-хронику", этого мы не ожидали. Жертвуя крайними, шахматист приближает час мата; сдавая коммунистам дээсовцев, интеллигенция вызывала на свою голову 37-й год. Круг замкнулся. Лучше всего это понимал тюремный врач, который считал этот арест началом спуска в долины доперестроечного избирательного террора (который, однако, неумолимо поражал всех борцов, рискующих подрывать устои открыто). Но что он мог сделать, хотя отчаянно пытался помочь? Только разрешить передавать изюм, мед, сгущенку и шампунь... И дать заключение о невозможности применения искусственного питания в связи с очень большой потерей зрения...

Свою камеру я украсила парочкой плакатов из тетрадных листов с цитатами из "Приглашения на казнь": 1. Кротость узника есть украшение темницы. 2. Администрация не отвечает за пропажу предметов, принадлежащих заключенному, равно как и самого заключенного.

Юрий Данилович Растворов посещал меня очень часто в моей одиночке (бедный Данилов даже не сумел отстоять свой



статус политзаключенного и сидел с двумя напарниками). Я не стану сравнивать его с Родригом Ивановичем, потому что он-то сам лично освободил бы всех политзаключенных. Он сочувствовал Шмонову и желал ему признания его вменяемым и лагеря, а не пыточной Ленинградской СПБ. Я видела следователя Шмонова Соколова и говорила с ним (он по совместительству вел дело Данилова). Это был классический гэбист без комплекса вины перед своими жертвами. С ним было неинтересно разговаривать: это была идеально отлаженная конструкция для ликвидации, и сомнения его не посещали. По-видимому, мои следователи были уникальным явлением в этом "аквариуме". Они ловили свою Рыбу, но жалели ее и старались сократить ее мучения. Соколов же просто мог выпотрошить ее заживо. Пятнадцать лет лагерей для Шмонова удовлетворили бы самую свирепую власть. Зачем нужно было обречь его – при живом и невредимом Горбачеве – на те истязания, которым он подвергается сейчас в городе, вернувшем себе название "Санкт-Петербург" и в порядке обновления воскресившем тень Шешковского? А что еще было воскрешать в граде, воздвигнутом на костях, в граде, основанном палачом-реформатором? Кронверк крепости, где были повешены декабристы? Семеновский плац, где едва не расстреляли Достоевского? Невские набережные, куда падали убитые 9 января? Шлиссельбург, где гноили народовольцев? Наше прошлое до 1917 года – мрачное кладбище. Там нечего воскрешать. Какое возрождение может начинаться с кладбища? Сменив Ленинград на Санкт-Петербург, мы поменяли Большой Дом на III отделение на Фонтанке, а "Кресты" – на Петропавловскую крепость.

Мои проповеди на Соколова никакого впечатления не производили. Это была другая система координат. А коменданту Растворову было со мной интересно. Это, по его словам, была единственная веселая камера. В других камерах его встречали малодушными слезами и отчаянием. У меня он отводил душу на предлагаемых мной проектах заведения в тюрьме бильярдной и бассейна в подвале, а также валютного ее использования:



можно было сдавать камеры, где сидели именитые узники, на ночь за валюту иностранцам.

Итак, ДС остался один на один с КГБ. Оказавшись в Лефортове в третий раз, самый заядлый оптимист будет мечтать только о том, чтобы на этот раз все-таки добились, и по возможности эстетично (то есть дали бы умереть, не теряя достоинства, по собственному вкусу). Страна ничему не научилась и ничего не приобрела. Готовность защищать политзаключенных не стала органичной даже для интеллигенции. Возвращаться было некуда, не к кому, незачем. В моей жизни не был заинтересован никто, кроме ДС, моей семьи, одной комиссии Моссовета и моих следователей с комендантом Бастилии (они пытались меня отговорить, искренне не желая прикладывать руки к такому концу). Было достаточно трогательно видеть гэбистов, пытающихся уговорить своего врага жить, хотя бы и в заключении.

В принципе Яналов и Круглов сохранили мне жизнь вопреки заветам служебного долга. Стоило им назначить судебно-психиатрическую экспертизу (при моем отказе ее проходить и сухой голодовке это был бы верный конец), не соблюсти в чем-то статус политзаключенного, унижить мое достоинство, арестовать еще кого-то из дээсовцев, и я оказалась бы в воронке смертельной голодовки – уже без возврата. Это была война (обыск у меня делал тот же Андрей Владимирович Яналов так тщательно, как делали только в 37-м и не делали даже в 60-е годы, перетряхнув все нижнее белье и унеся один патрон, который кто-то мне подарил как сувенир, а он оказался от пистолета-автомата). Но эта война велась с соблюдением правил. Дело по статье 218-й (хранение боеприпасов) было прекращено, не начавшись. Я затыкала собой все дырки в следствии, даже и по кемеровским делам, брала на себя статьи в газете "Утро России" (даже те, которые писала вовсе не я!). Было ясно, что я прикрываю товарищей. Но такие вещи "они" умели понимать и ценить. И не мешали. В ситуации полнейшего общественного



равнодушия, при молчании Запада, который уже не хотел защищать советских диссидентов (мало им, гадам, перестройки? Горбачев же их озолотил!), можно было позволить себе большее. Можно было арестовать еще 5-6 человек. Но убивать пришлось бы именно двум несчастным следователям КГБ, а они этого не хотели и своей страшной ролью тяготились. Потом я узнала, что после первых двух месяцев они пытались уговорить руководство изменить мне меру пресечения. Но то их просто погнало (какое изменение при моей-то позиции и отказе дать подписку!). Наша фракционная газета "Утро России" попала в дело целиком, оба ее номера. Вот это был печатный орган!

Вместо того чтобы выпустить меня до суда, советская юстиция прибавила моим следователям печали. В одно прекрасное утро меня вывели из камеры, без всякого предупреждения отвезли в Мосгорсуд, заперли в железной клетке в подвальном этаже, навязали чужого адвоката (от которого я отказалась, но у него не хватило храбрости уйти), и наспех собравшийся суд, объявив, что 29 мая горбачевское дело решено было пересмотреть – в пользу Горбачева (Степанков, этот заклятый демократ, добился-таки своего у Верховного суда и его Президиума, лично отменив оправдательный приговор), – постановил соединить дело производством с делом по 70-й статье, не взирая на мои протесты, насмешки и оскорбления в адрес суда, Горбачева, госстроя и прочего. Как говорится, если у кого-то что-то есть, то оно приумножится. Симпатичные лефортовские прапорщики только и могли, что не запирали меня в машине в боксик, а дать посмотреть на улицы и предложить валерьянку (последнее я с негодованием отвергла). Получилось, как у Маршака: вместо дела стало два. Возможно, об этом сюрпризе мои следователи знали заранее. Но предупреждать об этом не принято: по законам этой войны можно испытывать врага перегрузками: не сорвется ли он, не падет ли в оглоблях? Мне совершенно не улыбалось несчастное анекдотическое горбачевское дело включать в строгий инквизиционный политический процесс. Его я хотела провести серьезно, в стиле шекспировских трагедий, без бурлеска. Написанная в июне статья "Зачем надо



нарушать 70-ю статью УК? ", укромно вынесенная "в люди", стиль будущего процесса достаточно четко очертила. Так что максимум лет тюрьмы я, конечно, заслуживала. Горбачевское дело могло дать комический эффект и путало несколько мою режиссуру. Следователи были тоже в большой тоске: увязывание идеи государственной безопасности и сохранности строя с личностью Горбачева казалось им скверным анекдотом. К тому же на них легло доследование: приходилось заниматься всеми бесчисленными оскорблениями в адрес Горби, которые я успела изречь и написать после моего оправдания в марте до ареста в мае. Кстати, продолжение мной травли бедного Горби после оправдания послужило, согласно документам, основным мотивом для возобновления Степанковым травли моей по закону об оскорблении величия. Но беда не приходит одна. Фрунзенский суд внес в наш ужин свою лепту. Председатель Агамов подал донос в прокуратуру, и разбитый мною цветок вместе со стеклом вылился в дело по статье 206 – хулиганство. Учитывая мой решительный отказ (вплоть до голодовки) иметь дело с 206-й статьей (оскорбление величия идей демократии и светлого образа ДС), мне предложили выбрать себе статью УК, исходя из ассортимента Кодекса. Я, конечно, предлагала статьи о диверсии и терактах, но так далеко юмор моих следователей не простирался. Помирились на двух статьях: "Оскорбление суда" и "Уничтожение документов в государственных учреждениях" (порванное Леночкино постановление). То есть целостность государства и сохранность строя увязывались еще и с целостностью цветов во Фрунзенском суде и с сохранностью стекол в его окнах. Шекспир тихо сползал к Бабелю или Беккету (к театру абсурда). Для одного подсудимого статей было слишком много. Это было уже не только высмеивание ДС, но и высмеивание КГБ, покушение на честь голубого мундира. Я могла спасти ситуацию юмором и сатирой на процессе, а что мог сделать КГБ, вынужденный защищать глиняные горшки, оконные стекла и честь Горбачева? Антисоветизм моих следователей рос на глазах.



А ДС держался великолепно. В Кемерове было много ляпов по неопытности, один предатель, заложивший всех, даже журналистов, не причастных к делам ДС, – Алексей Куликов, но в целом организация проявляла трогательную стойкость, а на дверь местного КГБ клеились новые листовки.

Московские дээсовцы на допросы не являлись, а милиция ссылалась на отсутствие бензина, машин и людей для их поимки. Случайно отловленные подписанты "Письма двенадцати" брали вину на себя и нагло утверждали, что они авторы письма. От других показаний отказывались. Допрашивать было некого, хоть умри. Вадима Кушнера так и не нашли; взятый на митинге Ванечка Струков хамил как мог и был отпущен без всякой пользы для следствия. Алеша Печенкин в свои 17 лет читал гзбистам лекции по политологии. Андрей Грязнов зондировал гзбистские души, отказываясь от показаний, а Саша Элиович довел своим рафинированным издевательством следователя Соколова почти до гробовой доски. Следователь Чайка беседу с Женей Фрумкиным вспоминал каждый день как самое яркое впечатление в своей жизни. Но всех превзошли Юра Бехчанов и Лена Авдеева. Юра доводил родной самарский КГБ уже давно, и последний эпизод их доконал. Юра, Лена и еще одна дээсовка Лика вынесли на самарскую площадь стенд с "Письмом двенадцати", собирали под ним подписи и жизнерадостно вздымали плакаты с предложением немедленно свергнуть советскую власть путем революционного и вооруженного восстания. Их страшно били и впервые в Самаре дали пять суток Лене и десять суток Юре. КГБ возбудил дело по 70-й статье. Шли допросы. Юру должны были из спецприемника перевести в тюрьму, у его матери уже требовали передачу. Но он ухитрился сбежать через шесть дней из спецприемника, забрать Лену, переодеться и добраться товарняками и электричками до Москвы. А не то сидеть бы ему и сидеть; путчистская Самара закрыла его дело гораздо позже моего, аж через 9-10 месяцев после августа. Самарский КГБ требовал, чтобы КГБ Союза его взял и вернул на место; Москва отвечала, что это его трудности, а



они чужую работу делать не будут. Благодаря этому саботажу Юра с Леной благополучно скрылись в Литву.

ДС защищал меня без криков, стонов и унижительных просьб об освобождении. Листовки в мою защиту выглядели очень жизнеутверждающе. Горбачев мстил, это понятно. Этот реформатор спокойно отправил бы меня на тот свет. Но и народный заступник Ельцин не спешил на помощь. Впрочем, чего требовать от Ельцина, если молчали Запад и Сергей Ковалев?

Меня любезно пригласили на выборы президента. На третьем этаже оформили помещение и даже поставили туда цветы. ДС бойкотировал и эти выборы. Вообще-то надо обладать юмором КГБ, чтобы предложить выбирать президента по дороге на тот свет. Насколько я поняла, в Лефортове за Жириновского никто не голосовал.

Но мои следователи не голосовали и за Макашова! Гэбистский электорат обладал бульшим вкусом, чем клиенты "наших". Вообще не голосовала только я, скорее всего. Данилов требовал своего бюллетеня, но ему не дали, как гражданину Украины. Следствие заканчивалось, и я писала финальный памфлет "Вперед, к 1905 году!". Мне и его удалось благополучно передать на волю. Это был итоговый документ, что-то вроде резолюции на жизнь, которая закрывалась одновременно с заседаниями суда после приговора.



«НО ВОРЮГИ МНЕ МИЛЕЙ, ЧЕМ КРОВОПИЙЦЫ»



А между тем дээсовцев становилось все труднее удерживать от крайних мер. Они организовывали митинг протеста за митингом – их разгонял ОМОН, хватая зачастую и депутатов Моссовета, особенно Витю Кузина. Возникали проекты массовых голодовок и даже самосожжений. При жизни я еще могла это остановить, но после моей смерти в Лефортове осиротевший ДС и коктейль Молотова мог употребить. Я же сама учила дээсовские кадры не отдавать ИМ людей. Кстати, неунывающий анархист Сергей Котов, как опытный адвокат, был уверен в том, что дело окончится сроком, и немалым. Он ездил по столицам и организовывал пресс-конференции, то есть выполнял мою работу методиста ДС. У нас с ним шли препирательства только о том, подавать ему после приговора кассационную жалобу или нет. Я не только не собиралась сама подавать такую жалобу, но запрещала и ему. А он настаивал на том, что подать ее – долг адвоката, не может же он просто смотреть на то, как его подзащитный убивает себя голодовкой. Я пыталась ему внушить, что он в этом деле не адвокат, а связной, свидетель и товарищ по партии.

А следователей мне приходилось утешать на допросах, такие они были грустные. Но, похоже, мои утешения только усугубляли их внутренний дискомфорт. Они увидели во враге живого человека, а этого делать нельзя. Можно убить абстрактного врага, а как убить живого человека из плоти и крови, в личной порядочности которого ты убедился? Для меня эти два человека тоже были сюрпризом. Я, конечно, знала про Виктора Орехова, вся эта история произошла на моих глазах, но я в этой системе еще не встречала людей. Мы выпрямились по обе стороны баррикад, оторвавшись от прицелов, и, на наше несчастье, увидели друг друга. Я знала, что уже не смогу стрелять в них, а



они не могли стрелять в меня. Я чувствовала, что они отказались бы от дела, если бы не боялись сделать мне (не себе!) хуже, отдав этот материал своим куда менее чувствительным коллегам, таким, как Соколов. В диссидентской среде эти чувства едва ли найдут понимание, но условности для меня не много значат. В конце концов, Иешуа Га-Ноцри допек Пилата не злобой и ненавистью, а совсем другими качествами.

19 августа, придя на допрос, я нашла и следователей, и адвоката в совершенно нерабочем состоянии. Взахлеб стали они мне рассказывать о заговоре, аресте Горбачева и военном перевороте. Причем Котов был удручен гораздо меньше моих следователей. Еще бы! Он готовился к аресту или к славной смерти, а они были в ужасе от того, что начнутся аресты инакомыслящих, что все покатится в 70-е годы и дальше, что прольется кровь, погибнут люди, что аресты произведут и по моему делу. А Круглов раньше всегда вслух негодовал, что преследуют за чтение Солженицына! Эта неподдельная реакция ужаса показала мне, что они действительно не из плеяды инквизиторов. Те бы обрадовались возможности "рассчитаться". Система споткнулась всерьез, если уж в КГБ нашлись такие "протестанты". В это утро мы слушали приемник и вполне сошлись в комментариях насчет заявлений "этих придурков из ГКЧП". Котов подговаривал Яналова и Круглова пойти и арестовать Крючкова за измену, прельщая его должностью. Я возражала, что он посылает их на верную смерть. Право, это было слишком быстро – от Лубянки да к Белому Дому. Так не бывает. Нужна определенная эволюция поведения.

Путч меня не удивил. Перестроечные полумеры должны были этим кончиться. Я обрадовалась так же, как Котов! Полный фашизм должен был повлечь за собой вмешательство Запада, народное восстание, падение строя, Нюрнбергский процесс, переход к демократии! Об издержках мы не думали, мы же собирались пасть первыми. Следователи смотрели на нас, как на двух психов. Мне было ясно, что меня расстреляют в бли-



жайшие дни. Надо было оставить ДС инструкции. Я боялась, что бескомпромиссность ДС может привести к тому, что партия не сумеет объединиться с более умеренными силами, с Ельциным (если он пойдет против ГКЧП), с лояльными горбачевцами – для общего дела. Для меня здесь не было вопросов: я понимала, что у твердых сталинцев Горбачев мог сойти за Марата, а Ельцин – за Гракха Бабефа. И я помнила, как смотрелись голлисты и коммунисты в общем Соппротивлении бошам. Странно смотрелись, но камеры пыток и виселицы у них были общие.

Я написала кучу инструкций для партии: насчет митингов, тактики, листовок, организации подполья, консолидации сил с другими демократами и т.д. Следователи дипломатично отвернулись. Котов вернулся к Белому Дому, пообещав прийти завтра, если мы оба до этого завтра доживем. Я вернулась в камеру и стала лихорадочно писать, как мыслилось мне, последние в моей жизни документы. Признаться, я ожидала, что Ельцин примкнет к ГКЧП. Но он меня приятно поразил. Впрочем, тогда я воспринимала картинку целиком, без рефлексии. Сомневаться было непродуктивно и неинтересно, сомневаться не было времени. Это теперь мы можем судить да рядить: подлинный путч или мнимый, арестован Горбачев или сам заперся, стоит он за спиной ГКЧП или не стоит, искренен Ельцин или притворяется, будут танки брошены на людей или не будут. А тогда рассуждать на эту тему было нравственно безграмотно. Надо было действовать, помогать. Тем, кто посадил меня в эту тюрьму или равнодушно взирал на это со стороны. "Все за одного" – это в России никогда не получалось. Но всегда был кто-то "один из всех, за всех – противу всех". Радищев, Лунин, Солженицын, Анатолий Марченко. ДС. Мы хотели и умели отвечать за все. Демократия была для нас Храмом, к которому мы пытались загнуть нашу улицу. А Храм – это право убежища. И если кого-то даже по недоразумению убивают "за демократию" (Горбачев – демократ по недоразумению, да и Ельцин тоже), долг настоящих демократов предоставить этому гонимому защиту, даже ценой своей жизни. Таков устав этого Храма.



Мне стало страшно жаль Горбачева. Было ясно, что он, в отличие от нас, умирать не привык и не готов. Почему-то я подумала, что перед смертью он будет терзаться из-за того, что ДС называл его фашистом. Практика показала, что терзаться Горбачев не умеет вообще. Раскаяние – достояние более душевно тонких людей. Из газет ("Известий" и даже "Правды") стало ясно, что Запад почти готов примириться с хунтой. Порадовал Ельцин: его протест и отпор были очень советскими по существу, но все же энергичными. Если бы он принял ГКЧП, ДС и анархисты могли остаться на площади одни, без "МН", брокеров и "перешедших на сторону демократии" танков. Здесь я написала издевательское письмо Крючкову, листовку для ДС и, как я думала, последнюю статью "О пользе военных диктатур вообще и последней в частности".

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ СССР, ЧЛЕНУ ГКЧП КРЮЧКОВУ
Владимиру Александровичу

от политзаключенной (ст.70 УК РСФСР) Новодворской
Валерии Ильиничны, члена МКС ДС, пребывающей в след-
ственном изоляторе КГБ СССР (25-я камера).

ЗАЯВЛЕНИЕ

Любезный Владимир Александрович!

Надеюсь, Вы поделитесь с Вашими коллегами по ГКЧП моим посланием, которое вполне официально, несмотря на принятый у нас в ДС в отношениях с "советским руководством" (Ваше выражение) неофициальный тон, в связи с нашим полным непризнанием Советской власти вообще и ее руководства



в частности. Я хочу принести Вам мои искренние поздравления и выразить глубокое восхищение Вашими блестящими мероприятиями по окончательной дискредитации советского режима, как в глазах собственного народа, так и в глазах мирового сообщества.

После того, как Вы с похвальной откровенностью сорвали последние покровы с нашей политической лавочки и убрали Горбачева, который был Вашей единственной козырной картой (как внутри страны, так и снаружи), иллюзий не останется ни у кого. Запад вспомнит, что СССР – империя зла, восстановит в памяти те годы, когда, по Вашим словам, "в мире уважали советского человека", сидевшего в танке или в атомной подводной лодке, и поймет, что Московская Орда должна быть устранена не с помощью переговоров, а силой оружия. Ракеты и танки есть не только у Вас... Слава Богу, что Вы помешали Горбачеву окончательно разоружить Запад. Я не считаю третью мировую войну слишком высокой платой за избавление от Вашей власти и Вашего хваленного конституционного строя. Могут Вас заверить, в этой войне найдется весьма обширная пятая колонна, которая будет сражаться против Вашей хунты и нашего родного фашизма на стороне западных демократий.

Я числю себя в этой колонне более двадцати лет и сделала все, чтобы советский народ наконец понял, что избавление от красного фашизма возможно только вооруженным путем. Надеюсь, что теперь мои и моих товарищей разъяснения, которые послужили причиной моего ареста, дойдут наконец до народа, и он, вместо того чтобы сдавать Вам оружие, возьмется за него и обратит его против Вас.

Я не считаю гражданскую войну с такими, как Вы, несчастием для страны. Считаю ее единственным выходом, и вся моя общественная деятельность была направлена на то, чтобы

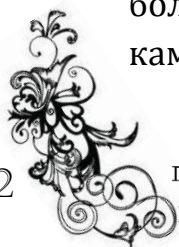


эта война наконец началась. Благодаря Вашему остроумному предпринятию, я надеюсь, окончательно развалится Ваш хваленый Союз и будет ликвидирован советский государственный строй. Спасибо за Ваше усердие в выполнении программы ДС. Я рада от имени революционно- либеральной фракции ДС, координатором которой я являюсь и которая уполномочила меня ее представлять, отказать Вашей хунте в признании и повиновении. Вопреки всему мы продолжим нашу деятельность, и смею вас заверить, что она будет направлена против Вашего путча. Как член Координационного Совета Московской организации ДС, надеюсь и уверена, что деятельность всего ДС Вам тоже приостановить не удастся. Если Вам непременно нужно кого-то расстрелять, не бросайтесь на безоружных и невинных, как в Новочеркасске и Вильнюсе. Предлагаю Вам для расстрела свою кандидатуру. Почитайте дело S145, и Вы убедитесь, что я этого вполне заслуживаю. Я была искренним врагом Горбачева, но, если он с Вами не пошел и Вами арестован, я сочувствую ему и готова защищать его, как политзаключенного.

Валерия Новодворская, член МК С ДС.

20 августа 1991 г.

Наутро я вручила письмо для Крючкова тюремной администрации, а листовка и статья пошли Котову, который принес в обмен воззвания Ельцина, поделился со следователями, а я свою долю раздала тюремной охране. Польза была одна: инициирование реальной борьбы с советской властью. В этот первый вечер я настолько была уверена, что меня расстреляют той же ночью, что легла спать в спортивном костюме, а не в "фирменной лефортовской" ночной рубашке. Я заснула вполне безмятежно: для меня-то расстрел был лучшим выходом и куда более милосердным концом, чем смерть от голода в тюремной камере (были случаи, когда от мокрой голодовки умирали



только на 60-й день). Библия у меня была, крест был со мной – чего еще надо? Не священника же требовать в такой ситуации? Я человек не очень набожный, скорее еретик даже в протестантстве, но есть вещи иррациональные, трансцендентные, которые я не могу, да и не хочу себе объяснять. Мой крестик на запрещенной в тюрьме золотой цепочке у меня могли бы отнять только вместе с жизнью. Когда я читаю Библию, я чувствую, что я верю, причем непонятно во что: канонически я не верую ни в воскресение из мертвых, ни в воскрешение Лазаря. Просто протягивается какой-то космический луч (особенно на Рождество, на Пасху и в тюрьме), и я чувствую, что Иисус – свой парень и мог бы быть лидером ДС. В принципе, по своей пламенной противоречивости, пророческой бессвязности, незлобивости, благородству, нонконформизму, презрению к миру и горечи ДС – вполне евангельская организация.

Когда меня и наутро не расстреляли, я поняла, что 1937 года не будет; разве что 1977-й (что тоже плохо). Котов принес мне и следователям свежие новости. Телефоны работают, арестов нет, народ построил баррикады. Что-то в этом было натянутое, неправдоподобное, кроме порыва людей. Было понятно, что, если Ельцин выживет, вся эта история станет для него крупным выигрышем. Витя Кузин и его комиссия вывесили из окна Моссовета трехцветный флаг, украшавший Витину комнату, и собрались защищать здание от танков, имея в запасе одни авторучки, 10-15 человек, да еще Котов купил горный пластмассовый альпинистский карабин вместо кастета. Как выяснилось, 19 августа к 12 часам ДС уже вышел на Манежную в полном составе вместе с депутатом Володей Ивановым. Те, кто полгода не навещал организацию, явились, уплатили членские взносы и отправились на площадь. Это был долгожданный сигнал. Для ДС сработала тимуровская сигнализация на запыленном чердаке. Надо было все бросать и спешить. Это ДС и Володя Иванов повели первых демонстрантов к Белому Дому, причем ДС тогда ни на миг не признавал Ельцина президентом, а ВС – парламентом. Но ведь и д'Артаньян добывал подвески



для королевы не из привязанности к королевскому дому, а ради Констанс Бонасье.

Я уйду и вернусь, как велите мне Вы -

Я не знаю других королев.

Мы не знали других королев, кроме свободы. Мы подчинялись ей. А Ельцина надо было просто спасать, как незадачливого альпиниста-новичка. Спасатель, как "Скорая помощь", не может отказать в спасении. ДС явился на место с железными прутьями, запаса бутылками с бензином и пытался пристроиться под все встречные танки. Это чудо, что никто не погиб. Самый молодой лидер ДС Миша Денисов узнал про ГКЧП в Вильнюсе: приехал печатать газету. Прямо с вокзала развернулся и поехал назад в Москву, будучи уверен в том, что он не успеет ничего сделать: возьмут на Белорусском у вагона. Поехал, чтобы быть арестованным! Для ДС это была норма. Для того и задолженности по взносам платили: вдруг не сочтут членом организации и не возьмут. ДС защищал 23-й подъезд. Коля Злотник печатал в своем Центральном банке ельцинские воззвания и дээсовские листовки. Вадим Кушнир строил баррикады напротив СЭВа, сначала вместе с цепью удержав танки, чтобы выиграть время. В украшении Белого Дома надписями ДС принял самое активное участие. Через каждые 50 метров поминалась я... Потом лозунг "Свободу Данилову и Новодворской!" красовался и на Лубянке. ДС никогда не был так счастлив. Это был его звездный час. В Питере дээсовцы призывали защищать Ленсовет с охотничьими ружьями. Они, страхуясь от танков, облили дегтем все окрест штаба обороны, так что чуть сами демократы не прилипли. Собчак не знал, как спастись от их рвения. В Омске Олег Томилов одел своих дээсовцев в любимую корниловскую форму, и они все вышли в центр города, чтобы умереть, как белые офицеры. Городские "красные" явились с кольями, чтобы всех их перебить. И если бы не пришли на выручку казаки с шашками, никто бы не уцелел. Во Владиво-



стоке ДС повел человек пятьсот брать штурмом штабное здание Дальневосточного флота, заявившего в лице своего командующего о поддержке ГКЧП. Чуть было их всех не расстреляла морская пехота. Милиция заступилась. Этот адмирал вообще был большой оригинал: он заявил, что, если местный облсовет не поддержит хунту, он применит ядерное оружие. И ежу ясно, что для России ее ядерные боеголовки – как спички и бензин в руках у сумасшедшего. И если бы я знала средство так запутать коды ядерных атак, чтобы воспользоваться ракетами стало невозможно, я бы это сделала с наслаждением. Но добровольно РФ никогда свои игрушки не отдаст: это у нее единственное орудие если не производства, то шантажа. Как дубина у неандертальца.

В Твери Тамара Целикова, которую еще два дня назад таскали в суд в связи с делом о горбачевской чести, держала плакат: "Свободу Горбачеву!". Везде малочисленный ДС выходил первым и увлекал других. Интеллигенция опомнилась и наконец обрела тот кураж, которого ей так не хватало с 1985 года. Но основная масса народа дремала и ни на что не реагировала, как некий матрас, в котором глохнут все колебания. Гражданское общество, восставшее против ГКЧП, было как спасательный плотик в мертвых водах равнодушного бескрайнего океана. СССР – это Солярис, и нам, людям, не понять закона его глубинной деятельности и его превращений, ибо это все нечеловеческие штучки-дрючки.

К третьему дню мне стало ясно, что, если все и образуется, глубоких сдвигов не будет (даже тех, что произошли, я не ожидала). И когда я просила моих следователей отпустить меня на ликвидацию хунты с условием, что потом я сразу же вернусь в тюрьму, я уже смирилась с тем, что получится как с окуджавской елочкой:



И в суете тебя сняли с креста,

И воскресенья не будет.

В Лефортове и Растворов, и охрана отнеслись к этой затее скептически. Один старый вохровец, помнивший меня еще с 1969 года, сказал по дороге на прогулку: "Они все сапожники. Увидите, они здесь будут".

От ожиданий Царствия Небесного (в виде террора, восстания и революции) я к 23 августа перешла к самому глубокому пессимизму, то есть к статус-кво на уровне 18 августа. Для себя я ничего не ждала. Я знала, что меня не за что щадить. 23 августа в 14 часов мне должны были предъявить обвинение, уже в окончательном варианте. Потом – чтение дела, потом – отдых до суда. Каникулы. 23 августа – это была пятница. "Душевой" день. Когда, счастливая, чистая и с мокрыми волосами, я возвращалась в камеру, меня нагнал прапорщик и сказал, что следователи меня срочно требуют к себе. При том, что было от силы 10 утра и Котов еще не мог прийти, это было странно. Прапорщик меня очень подгонял и не дал даже переменить белье на постели. Особенно я переживала из-за мокрых волос. Я подумала, что явился какой-нибудь прокурор (о возможном освобождении в Лефортове даже думать нельзя, это создает страшный дисбаланс, ты сразу теряешь форму). У моих следователей был нестерпимо счастливый вид. "Опять, что ли, обстановка в стране изменилась?" – спросила я. Происходило что-то сверх нормы. Мне меняли меру пресечения на подписку о невыезде, которую я, впрочем, не дала. Но нашему СП было понятно, что суда все равно не будет. На прощание мои следователи сказали мне, что я, конечно, враг, но на такого врага у них рука не поднимается. Конечно, все это не по закону, но Бог с ним, с законом, человеческая жизнь ценнее. Данилов уже уехал. Это была не горбачевская перестройка, по 70-й статье больше никто не сидел. Я могла выйти без угрызений совести. В камере меня упаковывали (она вся была завалена книгами из дома и прови-



зией) втроем и тоже очень торопили. Охрана радовалась, а Миша-ларечник сказал на прощание: "Свободу Юрию Деточкину!" На выходе подошел Растворов, ласково простился и попросил воспрепятствовать взятию штурмом Лефортовской тюрьмы. Я подумала, что брежу. На дорогу мне дали шикарную справку об освобождении. Паспорт отдали потом.

Я оказалась за воротами, причем сумки мне донесли охранники. Подъехали на такси Котов и товарищи (им следователи позвонили); по улице, как пестрый мячик, бежала счастливая мама. Около тюрьмы суетились ребята из Эн-би-си (или Си-би-эн) и искали гэкачепистов. По дороге на Лубянку мне рассказали, что там, на площади, формировалась колонна, чтобы идти брать Лефортово и меня освобождать, пока не объявили, что нас с Даниловым выпустили. Что Дзержинского сбросили. Что райкомы закрыли, что приостановили деятельность КПСС! (у меня осталось ощущение, что это было именно тогда). Что над двумя городами России развеваются трехцветные флаги ДС (в Астрахани единственный трехцветный флаг был у нашего Нелюбова). Это была не революция, но праздник. А у нас было в этом веке так мало праздников... Когда мы доехали до Лубянки, Ельцин выступал на холмике, где некогда стоял Дзержинский. Крепкие ребята пустили меня за кольцо, но прошептали: "Мы вас очень уважаем, но не надо здесь выступать, не надо волновать народ. На крыше Лубянки залегли снайперы". А Ельцин говорил: "Идите спокойно и приступайте к работе, я позабочусь обо всем. Без нашего согласия ни одно назначение не пройдет". Народ тихо растекся. Было ясно, что это революция в стакане воды.

Совершенно теперь (да и тогда) не важно, кто спровоцировал этот путч. Главное, что в этом спектакле нам досталась благородная роль Дона Карлоса и маркиза ди Позы. И не важно совсем, что это был театр. Пусть жалуются гэкачеписты, сыгравшие роль Филиппа и Великого Инквизитора. Сами виноваты. Не надо быть баранами, то есть рептилиями. Если даже бу-



дет доказано, что ситуация разыграна Ельциным, а ГКЧП "подставили", то я на Ельцина не в претензии. КПСС надо было убирать (и более жестко, хотя и без арестов). Подумаешь! "Обманули дурака на четыре кулака..." Я в претензии на недостаточно смелую игру. Я бы на его месте еще не так сыграла. Под предлогом борьбы с ГКЧП вызвала бы войска НАТО и США и под их прикрытием провела бы реформы, как американцы в Японии и Германии после 1945 года. С декоммунизацией, десоциализацией и десоветизацией. С разгоном КГБ. С роспуском колхозов и совхозов. С запретом на профессии (в выборных органах и суде) для коммунистов от секретаря райкома и гэбистов из V отдела. С лишением дипломов психиатров, пытавших диссидентов. С роспуском всех структур власти. С Учредительным собранием. С политическими процессами над теми, кто участвовал в политических репрессиях (единственная кара – лишение избирательных прав).

И ради такого сценария не один дээсовец согласился бы лечь под танк вместо трех погибших, а я с радостью пошла бы на расстрел в Лефортово, зная, что это скомпрометирует коммунистов, даже если бы Ельцин сам негласно отдал такой приказ! Спасение страны от коммунизма стоило того. Однако мы получили только то, на что наработали. По способностям, а не по потребностям. С интеллигенцией расплатились щедро. Дали не просто кость, а кость с мясом: прессу отпустили на все четыре стороны. Мне вернули свободу вопреки законам. Вытащили нас из клетки, где народ сидел добровольно с 1986 по 1991 год, и дали на дорогу хорошего пинка. Кормушка осталась в клетке. А нас выгнали в дикую сельву, где нет звезд, но есть свобода. Она такая, свобода: можно сдохнуть с голоду, обед надо сначала поймать, ползут змеи, чавкают крокодилы. Безопасность тоже была в клетке. Вместе с едой. Стройте все сами. Голыми руками на голой земле. Вдалеке мяукает ягуар и рычит лев. Все дозволено. Можно восстать. Но восстание – это у людей, а не у макак. А Фронт Национального Спасения и шарашка "наших" – это макаки. Макаки могут что-то поломать, раста-



щитъ, кого-то забить до смерти. Но восстание требует осмысленности.

Порадовавшись чужой коммунистической беде, ДС честно исполнил свои правозащитные обязанности: защищал коммунистов от разгона их гадких митингов, национал-шовинистов – от запрета их гнусных организаций, лидеров КПСС – от предполагаемого ареста. Мы просили сжалиться над гэкачепистами. Мы были вне власти, мы не взяли себе за защиту Белого Дома ни грамот, ни медалей. Мы были настроены на преобразования в стиле Моцарта, а жизнь играла нам нечто из Сальери. Возможны ли реформы в жанре Сальери? Уже в сентябре в своей статье "Соло московского муравья" я выразила общее настроение ДС, горький осадок на дне праздничного бокала. Было очевидно, что несвободная страна, народ которой на 80 процентов состоит то ли из кроликов, то ли из баранов, в случае большой удачи может разве что переменить хозяев. Ну что ж, мы их переменили (хорошо, что кончились нефтедоллары и нашим хозяевам пришлось сыграть в другую игру, и они так разыгрались, что конструкция рассыпалась у них в руках). Нашим нынешним хозяевам не нужна наша жизнь. Им нужен наш кошелек. Ну что ж, налицо общественный прогресс. "Говорят, что все заместники – ворюги, но ворюги мне милей, чем кровопийцы". О великий провокатор Бродский! Куда до него Хулио Хуренито! Ворюги – это уже лучше. Надо же и хозяевам с этой перестройки и с этой революции иметь некий профит. А иначе с какой стати они бы сдали нам Ленина, Сталина и Союз нерушимый?

Народ огорчился, а интеллигенты обиделись. По моему, капитализм в занимавшейся 75 лет самоедством стране представлялся им как что-то вроде мужицкого рая по А.Грину или Шолом-Алейхему, где народ купается целый день в молоке и ест мед пригоршнями. Зоолог Даррелл – социалист. Он говорит, что бедному зверю на воле хуже, чем в зоопарке. На воле голод, стихийные бедствия, охотники, враги, эпидемии. А в



зоопарке социальная защищенность, страховая медицина и хорошее питание. Так вот, мы собирались в капитализм со своим зоопарком. Увы! Легче верблюду пролезть в игольное ушко... Нам ведь всегда что-то клали в миску. Правда, клали мало, но много ли надо кролику? Или барану.

Хочу сразу оговориться. Я не уважаю свой народ. За исключением тех, кто пришел в августе к Белому Дому и не отрекся потом от демократии, как отреклись Власов и М.Челноков. Я его люблю и жалею, я отдам за него жизнь. Но уважать его мне не за что, власти всех сортов вьются над ним, как стервятники. Но стервятники над живыми не летают...

На самом деле мы приобрели одно право: сдохнуть вне колючей проволоки, под звездным небом. На свободе. Если не выкрутимся.



«МОЯ ВИНА, МОЯ ВОЙНА»



Но пока мы наслаждались этим сравнительно аркадским благополучием, в других местах, даже не столь отдаленных, было куда хуже, чем даже нам в 70-е годы.

Дон Базилио был прав: клевета – великая сила. Согласно общеупотребляемой клевете, которая заменяет большинству общественное мнение, в Грузии Звиад Гамсахурдиа установил диктатуру, а восставший народ ее сверг. Стыдно сказать, но и мы в ДС этому поверили (нам так хотелось увидеть хоть где-то восставший народ!). Правда, потом начались какие-то странные дела с расстрелами митингов уже после свержения "диктатуры". И наконец революцию увенчал прожженный партаппаратчик Шеварднадзе, безусловно, не ворюга, но кровопийца, пытавший и расстреливавший в бытность свою коммунистическим сатрапом Грузии. Здесь и слепой увидел бы, что что-то не так. Мое первое пребывание в Грузии в июне 1992 года было тайным. Ситуация оказалась настолько кошмарной, что пришлось ехать в Грозный – разбираться дальше. Когда я немного поговорила со Западом Гамсахурдиа, мне захотелось утопиться. Тиран оказался просто королем Матиушем I, и все, что он пытался в Грузии сделать, – это было как крестовый поход детей. Как бунт обреченных.

Так что же, собственно, произошло в Грузии? К власти пришли чистые и беззащитные люди. Они не шли на компромиссы, они прогнали коммунистов, разогнали КГБ, сами себя посадили в блокаду, отказавшись брать продукты у СССР. Их надо было убирать силой. Это не Литва, где народ в большинстве своем добровольно проголосовал за коммунистов.



Звиад Гамсахурдиа во всем оказался прав. Те, кого он назвал врагами Грузии, служат верой и правдой Шеварднадзе, подделав результаты выборов (голосовали не более 30 процентов). Мне оставалось только испросить и получить у президента грузинское гражданство, стать его советником по правам человека и совершить рейд в Грузию.

Кричат прохвосты-петухи,
Что виноватых нет,
Но за вранье в за грехи
Тебе держать ответ!
За каждый шаг и каждый сбой
Тебе держать ответ.
А если нет, так черт с тобой,
На нет и спроса нет!
Тогда опейся допьяна похлебкою вранья,
И пусть опять моя вина,
Моя вина, моя война,
И смерть – опять моя.
Галич

В Грузию я явилась с огромным (50 000) транспортом листовок, в основном на грузинском языке. А дальше была масса впечатлений. Высадившись из самолета в Тбилиси (во время рейса меня "опознали" три четверти пассажиров и весь экипаж, так что идея нелегального въезда провалилась сразу), я обнаружила, что хотя бы одну вещь Звиад Гамсахурдиа сделал на славу: КГБ разогнали так, что Шеварднадзе и концов не нашел. По крайней мере, "Бюро Информации и Разведки" Ираклия Ба-



тиашвили (местное гестапо) искало меня в Тбилиси три дня до первого ареста и даже обращалось за помощью к телевизионщикам из "Ибер-визи". У них получился очень интересный разговор. Телевизионщики, желая меня добыть для фильма (там телесюжеты частные студии сразу продают на кассетах), наведались к Батиашвили, думая, что он-то знает, где меня искать. Увы! У Батиашвили работали одни сапожники, и он ответил: "Мы ее потеряли. Сами ищем. Найдете, не забудьте известить нас". Конечно, телевизионщики меня не сдали, а, наоборот, даже охраняли.

Сразу выяснилось, что народ очень четко разделен на звиадистов (большинство) и путчистов (меньшинство), то есть сторонников хунты Шеварднадзе. В Грузии даже младенцам известно, что Дом правительства не был бы взят в январе 1992 года, если бы не советские танки, советские орудия и солдаты ЗАКВО.

Путчисты без автоматов не ходят даже в кафе-мороженое, по улицам разъезжают броневики, человеческая жизнь куда дешевле воздушного шарика, и больше всего "законная" власть Грузии похожа на шайку разбойников из Кордильер (национальные гвардейцы Китовани, "Мхедриони" Джабы Иоселиани и сам бывший уважаемый министр Шеварднадзе, напросившийся на роль атамана Кудеяра). Правительственное же учреждение Госссовет больше всего напоминает штаб батьки Махно (снарядные ящики, ребята в штатском, но с автоматами, полный бедлам).

Эффект присутствия Звиада Гамсахурдиа очень велик. Звиадисты мечтают о нем, как Рыцари о Прекрасной Даме. Я никогда не думала, что президента можно так нежно любить, пока не увидела его Грузию, его звиадистов и его самого. В Тбилиси есть дом, где шестидесятилетняя Анна хочет к его воз-



вращению сварить ему борщ. А в Батуми юная Ирма хочет поджарить ему котлеты. Так что обед Звиаду Константиновичу обеспечен... Первый тост – всегда за него. Взрослые, "крутые" мужики пьют и плачут... Но если звиадисты способны отвлечься от Звиада и заниматься какими-то другими делами, то у путчистов не так. Они на Звиаде просто помешаны, ни о чем другом не могут говорить, винят его даже в засухе или ранних заморозках. В отношении к нему путчистов много мистики. По моему, так Святая инквизиция относилась к Дьяволу. И аресты и пытки (зверские, средневековые) звиадистов – это как преследование в Испании еретиков. Когда путчисты, захватив Сенаки, заставляли жителей рвать и есть портреты президента (иначе – расстрел на месте), ставили к стене и приказывали ругать Звиада (иначе – расстрел), это было Средневековье. Когда префекта Ахметского района пытками пытались заставить сказать, что Звиад Гамсахурдиа в Грузию не вернется, с точки зрения даже гестапо здесь логики не было. А вот брат Торквемада, Великий Инквизитор, это понял бы. В Грузии произошло смешение эпох. Человеческий облик и современные нравственные и правовые понятия сохранили только звиадисты. Путчисты пытаются вернуть Грузию к дохристианскому варварству. Это уже даже не политика, а метафизика. В руках Шеварднадзе Грузия, воюющая с абхазами, звиадистами, целой Менгрелией, осетинами, горцами-конфедератами, русскими (ибо ненависть к ним очень высока), Грузия, живущая разбоем и грабежом самой себя, – это не Грузия XX века. Звиадисты живут в XX веке. Их противники – в XIV. Им друг друга не понять.

Когда я поговорила с партизанами Зугдиди и выяснила, что они отпускают пленных (хотя их самих при взятии в плен убивают медленно и страшно: пытаются паяльными лампами, отрезают уши, выкалывают глаза, вспарывают животы) просто потому, что убить безоружного они не могут, я поняла, что звиадизм – это уже философская мировоззренческая концепция. Благородство и интеллект, помноженные на стойкость.



Грузия – это страна предела. От самой низкой жестокости до самого невероятного героизма. В феврале и марте 1992 года на митинги в Тбилиси выходила четверть города, и каждый митинг превращался в расстрел. Сто убитых, 500-600 раненых. Война в Абхазии превратила путчистов в троглодитов уже окончательно. Ни один звиадист не поднял оружия против народа, с которым грузины прожили вместе несколько столетий. После чего и президента, и звиадистов назвали национальными изменниками.

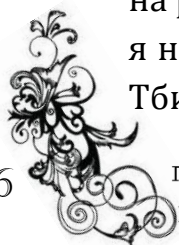
Такой дикой ненависти к инакомыслию и готовности немедленно стрелять в каждого несогласного я в своей жизни еще нигде не видела. Сейчас я понимаю, что уцелела чудом. Наверное, за счет лакейского комплекса Шеварднадзе (русский, даже если оппозиционер, – это белый господин, сахиб, и в него нельзя стрелять). И за счет удивления рядовых путчистов и самого Джабы. Люди этого типа ценят только "крутых" и изумляются, видя, что кто-то круче их самих. А я нагло и открыто явилась в Тбилиси (где сажают за подозрение в связи с Гамсахурдиа) с мандатом от него, в качестве его советника, сея смуту и листовки жутко "антихунтовского" содержания. Можно представить себе, с каким восторгом путчисты меня встретили! В первый раз меня арестовали на третий же день, когда я раздавала у университета студентам листовки по дороге на международную конференцию. Оказалось, что когда бьют носками ботинок по незащищенной голени – это очень больно, и воспаление держится несколько месяцев. (Побаливает нога до сих пор.) "Мхедриони" быстро усвоили приемы НКВД. Но когда в ответ на угрозу немедленного расстрела им говоришь: "За чем дело стало? Валяйте, расстреливайте. Слабо расстрелять?" – они пасуют. В Госсовете выяснилось (меня сразу поволокли туда), что батано (вежливое грузинское обращение, вроде "господина") Джаба предлагает кофе, но одновременно может заявить: "Вас убьют прямо на улице. Если Вы немедленно не уедете, я за Вашу жизнь не ручаюсь". По своей психологии он показался мне типичным Джеком Потрошителем. Часа полтора он говорил о том, как он любил Звиада и как в нем разочаровался. Это было



похоже на излияния обманутого мужа, от которого жена ушла к другому. Мое живейшее удовольствие от обещаний скорой гибели он никак не мог понять, не зная повадок дээсовцев, и заявил вслух: "Все интеллигенты – ненормальные. И вы, и ваш Звиад". В порядке самокритики себя интеллигентом "профессор театроведения" не считал. (В Грузии и БТР можно купить, не то что ученую степень.) На выходе юные сподвижники батона Джабы объяснили мне яснее: "Убьем и отвечать не будем, свалим на дестабилизацию". Подобные любезности приходилось выслушивать по три раза на день.

Видя, что я просто напрашиваюсь на выстрел, джентльмены удачи обычно увядали на корню.

В Поти меня арестовывала Национальная гвардия. Рота автоматчиков, пара ручных пулеметов плюс легкий танк. Зачем столько всего? Во-первых, я была не одна. Меня из Батуми сопровождали две звиадистки и двое звиадистов. Во-вторых, нас должны были встречать партизаны (50 человек на машинах и с оружием). Но мы разминулись, и наша группа досталась гвардейцам. Мини-митинг я все же устроила и часть листовок раздала, несмотря на обещание выскочивших из какой-то подворотни мхедрионовцев применить огнестрельное оружие без предупреждения. Гвардейцы тащились за нами через полгорода и канючили: "Вы арестованы. Ну куда же вы? Мы же вооружены, мы вас можем застрелить за неповиновение в военное время". На что я отвечала: "Плевать нам на ваш арест, я сама вас арестую, как представитель законной власти Грузии. А автоматы у нас в "Детском мире" еще красивей продаются, и с лампочкой". В конце концов нас скрутили. На этот раз били не так больно, но по зубам. Под охраной в запертой каюте с задраенным иллюминатором (я пыталась вылезти, плаваю я очень хорошо) меня довезли на судне "Цхалтубо" до Туапсе и выбросили на российский берег. На следующий же день на "Ракете" из Сочи я нелегально вернулась в Батуми, а оттуда меня переправили в Тбилиси. Сравнив грузинские кошмары (злая, дикая дикта-



тура без еды, без права, без горячей воды, без транспорта) с российской действительностью, я впервые испытала почти нежность по отношению к Ельцину и впервые ощутила, что у меня есть Дом и что его сравнительным покоем и благополучием, не говоря уже о градусе свободы, стоит дорожить. Увидев Грузию, я усомнилась в целесообразности всеобщего вооружения народа и поняла, что не всякая гражданская активность – благо. И законопослушание иногда хорошая вещь! А в гражданской войне есть свои минусы.

Последний арест в Тбилиси был самым жестоким. Я вышла на площадь Руставели (исторический центр Тбилиси) с двумя звиадистками. Дали и Изольдой. Мои лозунги были написаны на чистом грузинском языке. Они гласили: "Долой фашистскую хунту Шеварднадзе!" и "Шеварднадзе – палач грузинского народа". Но "Мхедриони" такое уважение к национальному языку не тронуло. После того как меня сбили с ног, я перестала что-либо ощущать и очнулась в тот момент, когда полиция поднимала меня с асфальта, надевала очки (хорошо, что не разбились) и отгоняла "Мхедриони". Я пропустила самое интересное. Дали и Изольда рассказали потом, что меня били ногами семь или восемь мхедрионовцев, причем в основном по голове. Судя по тошноте, боли в глазах, слабости, было сотрясение мозга. Но выяснять этот вопрос было негде и не с кем, потому что в порядке лечения мне дали 10 суток. Мы с Дали и Изольдой попали в подземную тюрьму, где политических расстреливали еще при Берии. Тюрьма была мрачной, но при этом очень неформальной: туда можно было передавать всякую еду, деньги, стеклянные банки, матрасы, подушки, простыни. Я думаю, что и автомат можно было бы протащить запросто. Мне оставили часы и ножницы. Обыска никакого не было. В грузинской тюрьме могут изнасиловать, расстрелять, подвергнуть пыткам, но могут и отпустить за выкуп или отдать брату-путчисту сестру-звиадистку.



Прелести беспредела! Но я оценить эти блага не могла, потому что держала сухую голодовку. Через пять дней я была на пределе, однако статью для своей газеты "Хозяин" ухитрилась отправить "на волю", а там ее по телефону передали в Москву. Терпение у путчистов истощилось раньше, чем моя жизнь: в полуобморочном состоянии меня под конвоем посадили в самолет до Сочи. У меня кончался срок командировки, и я не возражала.

Теперь у меня в Грузии много друзей и боевых товарищей. Гораздо больше, чем сто! Миллиона два как минимум. Это очень хорошие люди, такие же чистые и добрые, как их президент. Их нельзя бросать...

Ужасно, что на России еще и этот грех.

Я почему-то думаю, что, если мы загубим Грузию, Таджикистан, Литву, нам не жить самим. Кровь вопиет к небесам от земли. Мы все еще слишком сильны. Нас надо разрезать на такое количество кусочков, чтобы мы не могли творить зло.



«ВСЕ ЖАВОРОНКИ НЫНЧЕ – ВОРОНЫ!»



В сущности, всему хорошему, что случилось в нашей жизни, мы обязаны или скверному стечению обстоятельств, или дурным страстям людей.

1. Кончились нефтедоллары – началась перестройка.

2. Экономика развалилась – не потянули "холодную войну" и срочно возлюбили Запад.

3. Ельцину надо было обыграть Горбачева – он стал демонстрировать большой демократизм.

4. Второй эшелон элиты КПСС захотел сесть на место первого – произошла августовская революция.

5. Надо было свалить Горбачева, а партэлите из республик хотелось покайфовать в роли суверенных владык – распустили СССР.

А чего же вы еще хотите, если народ безмолвствует или просит корма? Что ж, поставим Ельцину памятник за Беловежскую пушу. Мы всем обязаны жадности, корысти, тщеславию, честолюбию и глупости наших владык. Раз уж народ не проявляет ума, благородства и честности...



Так или иначе, Союз развалили и воссоздать его будет сложно (Кравчук слишком дорожит своим положением "пана-президента"). Тоталитарную экономику угробили. Коммунизм в грязи утопили по личным мотивам (как Хрущев Сталина). Только с капитализмом что-то дело у нас не идет. Какой переход к либерализму при колхозах и совхозах? При Советах и "совках"? Где наша массовая безработица из-за закрытия лишних предприятий? Из ада мы выползли в чистилище, да там и застряли. А топка еще горит... Бедный Ельцин шарахается от каждого встречного патриота, как от буки. Новый способ построения капитализма нашли – чтобы и социалисты были довольны.

Моя скромная, непритязательная мечта – стать бы нам хотя бы для начала Латинской Америкой, этим западным классом для неуспевающих. Но западным классом, не советским! Умереть бы стране под ракитовым кустом, на воле, а не в концлагере.

А то вот Сергей Кургинян, блестящий, талантливый и, безусловно, честный реакционер, предлагает хлеб и даже могущество. Но взамен свободы. Похоже, народ скажет скоро: "Поработите нас, но накормите".

"Наши" ждут. Авангард советского народа, который тащит нас назад, в ночь без грядущего утра.

Уже предан и брошен на съедение фундаменталистам Гайдар. Уже сдан Бурбулис. После VII съезда наступает послесловие, конец. Переменка кончается, звенит звонок. Нас ждет тоталитарный класс и жесткое расписание занятий. Свои 10 минут перемены мы потратили зря. Мы ничего не нажили. Ни гражданского общества, ни приличной власти, ни либеральных



институтов. У нас даже нет правозащитного движения. Оно окончилось, и с позором, на отказе помогать истребляемым звиадистам, на отказе подписать письмо в защиту подвергнутого зверским пыткам в Тбилиси Зазы Циклаури. От нас потребовали доказательств невиновности облитого кипятком человека с оторванным ухом, с переломанными руками и ногами. Когда-то письма в защиту диссидентов подписывались с ходу, без доказательств. Я всю жизнь носила воду в решете. Я не жалею об этом, но вода вылилась на землю. То, что мы заработали в августе, наше горькое право сдохнуть на воле, у нас могут отнять. Те, кто захотят жить любой ценой. Либеральная жизнь нам не светит. Хватит ли у общества достоинства выбрать либеральную смерть?

Возможна ли конверсия для нашей революционной партии? Едва ли... Всю жизнь я пыталась поднять народ с колен, но он рожден ползать.

Что, собственно, происходит в стране?

Разрушение. Безжалостное и неумолимое разрушение всего прежнего Бытия: промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, быта, традиций, стереотипов, моделей поведения, душ, судеб, понятий о добре и зле. Есть у Альфреда Бестера роман "Человек без лица". Там, в далеком будущем, преступников не казнят, а разрушают их личность: разум, психику, память. Медленно, в течение года. А потом перезаряжают, и рождается новый человек, способный жить в цивилизованном обществе. Это высшая мера наказания – только за убийство. Что ж! Страна-убийца, СССР, получила по заслугам. Нынешнее Разрушение – промысел Божий. Жаль, что абсолютное большинство слишком давно потеряло Бога. Их уверили в том, что его нет. Вера помогла бы принять наказание стойко и со смирением. Ведь за карой и покаянием идет и прощение.



Насколько сознательно действует в этом деле новая власть (президент и его команда), я не знаю. Скорее всего, Ельцин при его добродушии и советском воспитании искренне полагал, что можно всех облагодетельствовать. Не похоже, чтобы он шел на это Разрушение сознательно. Вот Гайдар, должно быть, знал. В его откровенности проглядывало отчаяние.

Наши реки давно текут на север, с 1917 года. Надо вернуться к нормальному ходу времен и вещей. Но это – пересмотр истории, это – самоскальпирование, это – почти самоубийство. Чтобы идти на это – и вести на это, – нужен героизм. И надо ли навеивать человечеству сон золотой, надо ли врать?

Ни Шахрай, ни Ельцин, ни даже Клинтон не посмеют сказать всего. Экономический и психологический Армагеддон – это когда выживут только те, кто приспособится. Запад – не ложе из роз, это вечное мучение духа, неуспокоенность, дуэль, дискомфорт. Это другая жизнь.

Первое столетие, может быть, Россия будет ходить, как андерсеновская Русалочка, по лезвиям ножей. И делать вид, что ей не больно. На свете и впрямь счастья нет. Мы могли дать только свободу. Но кто нас поблагодарит за нее? Мы завели Россию, как Гензеля и Гретель из сказки братьев Grimm, в темный лес, где ей предстоит выжить или погибнуть. Правда, мы в том же лесу, с ней, но ей от этого не легче. Домой, в тоталитаризм, она уже не попадет. Мы сожгли лягушачью кожу Василисы Премудрой. А Россия, как брошенный ребенок, рыдает под сосной и зовет маму: царя, КГБ, СССР, ОМОН, власть. Мы изверги. Нам нельзя ее жалеть. Исторический инфантилизм лечат именно там, в лесу, в котором бросают.



Мы должны привыкнуть к мысли, что люди будут стреляться, топиться, сходить с ума. Уже покончила с собой Юлия Друнина... Это только начало. Уже отреклись от свободы без справедливости (а это две вещи несовместные) Юрий Власов и Михаил Челноков. За ними последуют другие... Я благодарна Ельцину за то, что он не помешал Разрушению. Но он должен быть готов к проклятиям. Слепые будут проклинать. А зрячих у нас меньшинство...

Мы не должны питать иллюзий. У нас нет исторического времени друг другу лгать. Поэтому чем скорее мы покончим с мифами, тем лучше для всех. Есть два лагеря. Две команды. И игра, которая ведется между ними, нами принятая еще в 60-е годы (хотя не все диссиденты смели называть вещи своими именами), а президентом провозглашенная 20 марта 1993 года, – это смертельная игра. Нет смысла называть наш лагерь демократическим. У нас там не только демократы, во главу угла ставящие волю народа и право большинства, а также Конституцию и процедуру. Глеб Якунин – демократ. А Виктор Миرون? А я сама? А казаки? Они что, тоже демократы? Наш лагерь – это лагерь белых. Когда-то, в первой серии, в нем уживались эсер Савинков и Каледин, западник Врангель и традиционалисты Колчак и Деникин, казаки и депутаты Учредительного собрания... Та первая серия называлась "гражданская война"... Она была отложена и теперь возобновилась. После VIII и IX съездов нардепов это уже нельзя отрицать. Речь идет об историческом реванше. Снова, как встарь, между красными и белыми только чистое поле, на котором решится судьба России. И если в начале века было неясно, какой поставлен вопрос и из-за чего сыр-бор, то теперь все проявлено окончательно. Теперь-то мы знаем, что нынче лежит на весах! И тогда лежало то же самое. Путь России на Запад или на Восток, что теперь затейливо называется "мондиализм" или "атлантизм" и "евразийство". Красные победили тогда потому, что их вожди методом тыка угадали, что нужно силам крестьянской реакции России; ведь и Октябрь, и Февраль были протуберанцами глубинного недовольства "мира", "об-



щины", "Собора" либеральной модернизацией Думы Милюкова и Столыпина.

В стране идет гражданская война между тысячелетним прошлым и хрупким, невероятным будущим, но теперь лагерь белых почти излечился от традиционализма и сознательно рвется на Запад, как к недостижимой елочной звезде... Поэтому нас и назвали демократами, хотя я лично, например, либерал и не согласна ставить мировые вопросы на всеобщее голосование. Победа в гражданской войне достигается только силой. Не обязательно силой оружия. Силой воли. Силой духа. Страна не выбирала либерализм, она и не могла его сознательно выбрать. Речь идет о том, как его стране навязать. Я хочу, чтобы была создана жесткая конструкция экономического принуждения. То есть сзади будут некие заградотряды: все уже разрушено, можно идти только вперед. Поэтому я разрушаю сознательно и с мстительным наслаждением, как Маргарита, сжигавшая перед отлетом с Воландом свой прежний дом, свое прошлое.

Я не смогу примириться с политическими репрессиями, с ограничением прав на самовыражение. Я не говорю о праве выбирать. Это право выбора между тоталитаризмом и демократией я предоставить не готова. Риск слишком велик. Свобода слова, печати, митингов, собраний – это святое. А все остальное – после. После создания среднего класса, класса собственников, после победы над красными, после того как окончательно разрушится прошлое.

В лагере белых, в моем лагере, есть чистые демократы, есть чистые западники (фермеры, бизнесмены, интеллигенция). Есть сословия, пришедшие за землей и волей (казаки). Есть героические личности (шахтеры), готовые вызвать огонь на себя. Понимают ли они, что многие шахты придется закрыть? Знают ли о том, что либеральный переход – это массо-



вая безработица? Если да, то они герои. Если нет, то они от нас рано или поздно уйдут. Нас мало, мы должны это знать. Мы – квалифицированное меньшинство. Готовы ли к гражданской войне члены моей собственной команды? Глеб Якунин, Галина Старовойтова, Марина Салье? 100 000 демонстрантов, вышедших 28 марта на Васильевский спуск, были готовы. Их лозунги гласили: "Добьем в марте 1993 года то, что мы не добились в августе 1991 года!".

В красной команде, возглавляемой съездом, ВС, Конституционным судом, большей частью армии, где Анпилов, Жириновский, Сажи Умалатова – лишь форварды, все в порядке. Они знают, чего они хотят, даже когда не могут это сформулировать. Над ними можно смеяться, но они не смешны. За ними – тысячелетие российской истории, которую мы хотим перечеркнуть. За ними – молчание российского моря, которое готово выйти из берегов, ибо нашим лагерем начаты процессы, равносильные геологической, космической катастрофе. По сути дела, "коричневые", или крутые почвенники, сошлись с красными не только на этой метафизике. У них нет своей массовки, они поставляют только лидеров: Жириновского, Дугина, Стерлигова. А у красных есть своя "дикая охота короля Стаха": обезумевшие люмпены, фанатики социализма, ветераны тоталитаризма, голодные и рабы. Мы должны знать, что это большинство. С ними окажутся многие объективно порядочные люди: некоторые правозащитники, депутаты Моссовета. Все те, кто хочет и свободы, и справедливости. Значит, они пойдут против свободы. Потому что – "или-или".

Фундаменталисты будут вешать, будут пытаться и не остановятся ни перед чем. На этот раз мы зашли на Запад гораздо дальше, чем к 1917 году, и реакция будет страшной, полпотовской. Мы почти прошли наш астрал, почти разогнули яновский порочный круг, вышли в абсолютизм: явочным порядком наскоро построенный олигархический режим с либеральными вкраплениями и демократическими элементами,



правда, занавешенный мафиозной паутиной... И если мы сейчас опять попадем в "Звездный час автократии", то до следующего Смутного времени ждать придется столетия... Ставки очень высоки, и сейчас не до пустяков. Не до права народа решать свою судьбу. Ее уже решили однажды в 1918 году у нас и в 1933 году в Германии. Конституционным путем... Хорошенького понемножку. В газете "День" уже была картиночка (сверху написано: пленных фашистов ведут через Москву. 1944 год. Изображена огромная толпа пленных под конвоем. И снизу добавлено: вот так же пойдут и демократы). А для самых тупых поместили изречение: "Они загнали нас в угол, мы поставим их к стенке".

Мне претит пассивное ожидание казни. Восемь месяцев бездействия и бессилия Временного правительства не должны повториться. На этот раз мы должны встретить смерть в бою. Если не победим. А победа возможна! Это согласие невозможно. Нет консенсусов между белыми и красными.

Только один человек из лагеря фундаменталистов (мы только что выяснили, что красно-коричневые – лишь современное его воплощение) будет нам полезен после победы и способен создать нечто позитивное в рамках либерализма. Это Сергей Кургинян, не столько режиссер (хотя он один из первых), и не столько политолог (хотя равных ему мало), сколько фантаст и идеалист. Он, безусловно, самый способный и самый честный из всех наших врагов, но он-то хочет сражаться по законам чести и умеет мечтать. Боюсь, что красные его ликвидируют еще до часа "X", как это сделал Пиночет с несогласными идти на зверства офицерами. То, что личность такого масштаба не на нашей стороне, – это трагедия. Таких трагедий будет много... Брат может восстать на брата, писатель – на писателя, диссидент – на диссидента. С кем сейчас Игорь Огурцов и Леонид Бородин? Увы, не с нами! Это придется выдержать. Через это надо пройти. Мы сожгли свои мосты. Я – в 1969 году, Ельцин – в Беловежской пуще, ДемРоссия – 28 марта, Шапошников – в августе 1991 года. Моя команда, мои белые шахматные фигуры



очень неоднородны. Но есть законы футбола и законы шахматной партии. Этим объясняются все кажущиеся противоречия в моем поведении. Я – еретик, я позволяю себе роскошь говорить всю правду и своим, и чужим. И мне ничего не надо. Таких людей не любят ни свои, ни чужие. Я – волк-одиночка, мне трудно играть в команде, а команде трудно со мной. Они боятся играть со мной на одном поле. Я профессионал, а они еще робкие дилетанты. Это в революционной деятельности, а в политике, должно быть, наоборот. Но политика в футболе бесполезна. Надо забивать голы.

Мы не можем честно выиграть выборы. Обмануть и запутать мы можем, но я в этом неспособна участвовать. Как человек я не люблю президента. Однако как футболист я играю с ним в одной команде, а игра идет на гибель или спасение России (может быть, мира). Поэтому мой человеческий и правозащитный пафос мне на поле мало поможет. Я не могу забивать мячи в свои ворота, сейчас это недопустимо. Но при этом я говорю правду, и моя деятельность настолько расходится с моими словами, что вызывает всеобщее удивление, а ДемРоссия боится дать мне слово на своих митингах.

Что из того, что Ельцин раньше играл за "Пахтакор"? Сегодня он играет со мной за "Динамо". Увы, он капитан команды. Гол может забить только он, хотя я веду нападение. И если я, плача и ломая руки, говорю, что нет другого выхода, кроме введения президентского правления на два года, для того чтобы распустить все Советы, поменять все кадры, заложить основы капитализма, – значит, на поле сложилась крайняя ситуация и счет не в нашу пользу.

Будет ли это либеральной диктатурой? Едва ли, если будет создан Политсовет из западных, либеральных сил, который временно заменит парламент, если будет введено



прямое действие Декларации прав человека и Пакта о политических и гражданских правах, если будет сохранена и приумножена свобода слова, печати, собраний и митингов. Однако свобода выбирать социализм, коммунизм, фашизм etc. не может быть предоставлена. После настоящего Международного Суда компартию и нацистские организации (ФНС, "Память", РОС, разные там Соборы) придется запретить (только в плане участия в выборах, не более того). Остальное довершит люстрация. Соппротивление фундаменталистов и люмпенов на этом не прекратится, но оно обретет уголовные формы, и его можно будет легально подавить. Однако на уровне Слова – не Дела – коммунистических и почвеннических протестантов трогать нельзя. Это – табу. Если моя команда сумеет удержаться на уровне бескомпромиссности, не перешагнув черту, за которой – запрещенные приемы, мы выиграем с честью или с честью падем. Я не люблю Ельцина, но я его не предаю. Пока он играет за мою команду, куда я записалась на 20 лет раньше него. Мне стыдно, когда он говорит о примирении со съездом. Это мяч, который забивают нам. Я рада, когда он бросает красным перчатку. Это мы забиваем мяч.

На шахматной доске он – король. Слабая, уязвимая фигура. Но я не могу допустить, чтобы белому королю был объявлен мат. Тогда мы проиграли партию.

Что делать в такой ситуации правозащитникам? Они не сумели независимо повести себя с властью при Горбачеве, а сейчас правозащитное движение расколется на сторонников справедливости и сторонников свободы, на либералов (которые примут президентское правление) и демократов (которые его не примут). Процесс уже пошел. Мы окажемся по разные стороны баррикад, потому что во время гражданской войны решается вопрос об изменении строя, а многие правозащитники говорят: "Мне все равно, капитализм у нас или социализм. Главное, чтобы соблюдались права человека". А я не согласна предоставить Анпилову право строить социализм в моей квар-



тире, даже путем парламентских выборов. Пусть строит в своей – не в моей. И рассудит нас здесь не Зорькин, а Калашников.

В 60-е и 70-е годы чисто правозащитное движение было величественно и благородно. Сейчас в России оно будет вредно. Поэтому порядочный человек всегда проигрывает. Ибо для него проигрыш – это компромисс, проигрыш – это реальность. Играть в команде белых демократов – это значит сказать миру "да". Впервые мой путь не прям. Я буду играть в одной команде с людьми, которых не всегда лично уважаю. В моей команде Лужков. Он играет честно, он играет за нас, наши пути сошлись, но для меня это ужасно. Жизнь – всегда проигрыш. Порядочные люди должны вовремя погибать, в этом их спасение. Дай мне, как говорится, Бог...

Когда мы пройдем опасный отрезок пути, я смогу уйти в свой отказ, в свою оппозицию. Но еще столетие порядочные люди в России вынуждены будут зажимать себе рот, чтобы не проклясть слишком громко нашу новую реальность, пока не закроется навсегда дверь между старой и новой реальностью, между смертью и жизнью, между Востоком и Западом, между социализмом и капитализмом.

Несколько веков подряд русская интеллигенция окazyвается у разбитого корыта. Оно – наше первородство. Не променяем же свое разбитое корыто на их чечевичную похлебку!

Сейчас будем писать статьи, но, когда у власти окажутся фундаменталисты, возьмемся за оружие. Даже если весь народ обалдеет от восторга. Пойдем против народа, мы ему ничем не обязаны. Он уже балдел в 1918-м, и в 1937-м, и в 1945 году, и в счастливую эпоху застоя, когда колбаса стояла 2.90 за



кг. Пойдем против всех, кто пойдет против свободы. Нашей свободы умереть в джунглях, от голода, змеиного яда или львиных когтей. Но вне клетки. На месте России может остаться пепелище, тайга, братская могила. Но нового архипелага ГУЛАГ пусть на месте России не будет никогда. C'est la vie. Сартр сказал: "Человеческая жизнь начинается по ту сторону отчаяния".

8 апреля 1993 года

